

ОЛЬГА ПТИЦЕВА

18+

ВЫЙДИ ИЗ ШКОЛЫ



Выйди из шкафа

Ольга Птицева

Выйди из шкафа

«Popcorn books»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2)6

Птицева О.

Выйди из шкафа / О. Птицева — «Popcorn books»,
2020 — (Выйди из шкафа)

ISBN 978-5-6046290-3-1

У Михаила Тетерина было сложное детство. Его мать – неудачливая актриса, жестокая и истеричная – то наряжала Мишу в платья, то хотела сделать из него настоящего мужчину. Чтобы пережить этот опыт, он решает написать роман. Так на свет появляется звезда Михаэль Шифман. Теперь издательство ждет вторую книгу, но никто не знает, что ее судьба зависит от совсем другого человека.

УДК 821.161.1
ББК 84(2)6

ISBN 978-5-6046290-3-1

© Птицева О., 2020
© Popcorn books, 2020

Содержание

1. В мешок и в Клязьму	6
2. Нет холодной, одна горячая	18
3. Никчемьш	29
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Ольга Птицева

Выйди из шкафа

Книга издана с согласия автора.



© Ольга Птицева, 2020

© Издание, оформление. Popcorn Books, 2021

Cover art © by Corey Brickley, 2021

Тим

1. В мешок и в Клязьму

Я

– Послушай, тираж к Питеру не отгрузят, – бубнит себе под нос Зуев. Ломает в неповоротливых пальцах слишком хрупкую для него кофейную чашку, молочную на просвет, нежную, будто теменная косточка. – Точно не отгрузят, вот зуб тебе даю.

Мне его зубов не надо. Видел я его зубы. Желтые, крепкие, как у неандертальца. Он весь такой – массивный, странно квадратный, пугающе монолитный. И ничего, не стыдится этой своей неотесанности. Тащит ее за собой, как знамя. Глядите, мол, вот я какой, обычный русский мужик.

Киваю слегка, ровно настолько, чтобы не переборщить с приязнью. Ему хватает. Хищные зубы скалятся, чашка кренится, и кофе льется Зуеву на колени. Элитная шерсть впитывает коричневую жижу неохотно. Зуев чертыхается, подскакивает, ищет салфетку.

Я сижу. Мне кофе не предложили, сразу налили шампанского. Не спрашивая, чего я, собственно, хочу – воды и сэндвич с курицей, пожалуйста. А еще свалить отсюда как можно быстрее. Я обещал Катюше, что буду не позже четырех. Так нет же, всучили бокал.

– Мишенька, это который по счету тираж-то? – подслеповато шурится Анна Михална, местный реликтовый вид литературной мыши, пока Зуев бежит сушиться в туалет.

– Седьмой. – Говорить это куда приятнее, чем я думал, но всякая радость иссякает, если придавить ее гранитной плитой последующих обязательств.

– Седьмой! Божечки! Вы слышали, коллеги? Седьмой!

Коллеги отрывают воспаленные взгляды от экранов, вяло хлопают, утыкаются обратно. Благодарить их можно так же уныло. Можно вообще не благодарить. Но ко мне уже приближается редакторская милочка с лицом, вырисованным настолько тщательно, что и Катюша моя сошла бы за красавицу под таким-то слоем штукатурки. Уровень абсурда настолько велик, что я забываюсь и совершаю роковой промах. Я улыбаюсь. Не милочке, конечно. Короткая юбка на полноватых бедрах, кофточка с катышками на локтях, волосы давно пора резать под самые уши, все равно висят патлами. Чего мне ей улыбаться? Но милочка расплывается в ответном восхищении, краснеет пятнами, смотрит маслено.

– Михаэль, здравствуйте.

Ненавижу. Кто бы знал, как я все это ненавижу. Этих девочек – их глазки-пуговицы, влажные ладошки, нежные пальчики, блестящий под слоем пудры носик с крошечными порами, забитыми потом и пылью. Но больше всего я не выношу того, как они ко мне обращаются.

Глубокий вдох, чтобы грудь поднялась, натянула свитерок, потом долгое «ми» на выдохе, и снова вдох, чтобы получилось «ха», а следом бесконечное «э-э-э» и финальное «ль», так, чтобы я увидел, как розовый язычок скручивается за передними зубками, отбеленными до фатальной тонкости эмали. И каждая думает, что делает это особенно чувственно и глубоко. И каждая рассчитывает, что я, услышав такое к себе обращение, рухну на пол прямо к ее ногам, всунутым в потертые туфельки из козла. Но мимо. Пол остается без моего брэнного тела, а милочки уходят восвояси, прижав к пылкой груди подписанную книжечку – на долгую память такой-то барышне от Михаэля-мать-его-Шифмана. И карнавалу этому нет ни края, ни конца.

– Михаэль, – повторяет милочка. – Я знаю, что вы ищете редактора...

Я смотрю поверх ее макушки и почти не слушаю. Дверь мужского туалета распаивается, Зуев вываливается в коридор и шагает по нему неспешно и увесисто. Был бы рядом стакан, вода в нем пошла бы рябью. Но шампанское я уже допил, а бокал тут же подхватили и унесли – не дай бог устанет рабочая кисть и золотая антилопа перестанет генерировать контент.

– Я закончила Шолоховский, три года работала с переводными авторами, потом уже перешла к русским, ни одного нарекания, хорошие продажи, вот, посмотрите! – щебечет милочка и сует мне какие-то листы, а все кругом смотрят на нас со сдержанным интересом.

Я наконец понимаю, что ситуация вышла из-под контроля. Милочка совсем раскраснелась, лоб покрывается каплями пота. Мне хочется смахнуть его, почувствовать чужой стыдный жар, соль и горечь публичного унижения. Я стискиваю угол стола, качаю головой, и милочка замолкает.

– Кого я ищу? – Стараюсь не сорваться на желчь, но выходит ядовито.

Воцаряется тишина. Даже въедливый стук по клавишам замолкает. Только Зуев продолжает топтать по коридору. Он уже в дверях, он готов спасти положение, но милочка кашляет и бормочет:

– Кого? Ну, редактора... Агента. Я не знаю. – Еще чуть, и она заплачет. – Мотиватора? Помощника? Друга?.. – Теперь яркая помада на ее онемевших от страха губах лишь подчеркивает мертвецкую бледность лица, и вся она – скорее панночка, которая померла, чем та сочная дивчина, что шла ко мне вдыхать «ми», выдыхать «ха», тянуть «э» и перекручивать «ль».

– Нина, идите к себе. – Зуев появляется до того, как Нина все-таки начинает плакать, и та срывается с места, только каблучки глухо бьются об пол.

А время идет. На другом конце Москвы пробуждается Катюша. Тянет бархатное тельце, скрипит суставчиками, мнет косточки – снизу вверх, сверху вниз, продирает залипшие глазки. У меня остается час, максимум полтора, и то если она решит позавтракать без меня. А если я не успею, видит бог, если я не успею, начнется такой кордебалет, что лучше мне все-таки успеть.

– Так кого мы ищем? – спрашиваю я, позволяя утащить себя в стеклянную коробку переговорной – оупен спейс оупен спейсом, а звукоизоляцию никто не отменял.

Зуев тяжело оседает в кресло, короткие ноги в промокших брюках скрываются под столом. Теперь он сидит, а я стою. Я оправдываюсь, а он обвиняет. Больше нет кофе, нет шампанского, даже седьмой тираж, которому никак не успеть к ярмарке, больше не имеет значения. Я знаю, о чем мы будем говорить. Под пупком начинает тоскливо скручиваться. Пересыхает рот. Я сглатываю, поднимаю глаза. Никакой вины, Миша. Никакого страха. Ты приехал по своей воле. Ты ничего не нарушил. Ни единого пункта ваших многочисленных договоров. Пока еще не нарушил. Ну так и не робей, Шифман ты или Тетерин, в конце-то концов? Правильно, здесь ты – Шифман. Вот и не дрейфь.

– Константин Дмитриевич, что-то вы тут мутите, а я и не в курсе, – цежу я. Со скрежетом отодвигаю соседний стул и опускаюсь на него, не позволяя спине хоть на градус отклониться от прямого угла.

– А как не мутить, Миша, если тебе рукопись сдавать через два месяца, а я ее в глаза еще не видел? – с ходу наступает Зуев, и я внезапно успокаиваюсь.

Вот и сказано. Столько боялся этого, по ночам вскакивал, планы разрабатывал, как бы вывернуться, как бы спастись. От каждого письма потом обливался. На звонки не отвечал. А теперь, когда уже сказано все, то и не страшно.

– Ну так я работаю, дело это, знаете ли, непростое. – Врать становится легко и приятно. – Поэпизодник у меня не пошел, вычеркнул половину, стало пусто, пришлось новые линии продумывать. Арку никак не зафиналю, представляете?

Зуев смотрит тяжело, но не перебивает, а я все плету и плету.

– Опять же, два месяца – это шестьдесят дней, если по тысяче слов за день, то шестьдесят тысяч!.. – И останавливаюсь, потому что большей ерунды уже не придумать.

Зуев сдержанно смеется.

– Прохвост ты, Мишка, – говорит он, и я вспоминаю, что мужик он, по сути, хороший.

Вон как у нас с ним в гору все поперло. Жалко подводить. Но время стремительно приближается к четверем, и шанс подвести всех, а себя так и вовсе под монастырь, увеличивается в геометрической прогрессии.

– Константин Дмитриевич, не давите вы на меня! – примирительно прошу я, поднимаясь с кресла. – Все сдам в срок. Клянусь.

– Ты бы хоть кусочек мне прислал, – плаксиво морщится он. – Если я на тебя давлю, то представь, как они на меня давят! – Кряжистый палец упирается в потолок, и выглядит он, мясистый и волосатый, крайне внушительно. – Там такие люди подвязаны! На выход-то! По тебе диктант читать будут, этот, как его?..

– Тотальный.

– Вот! Тотальный! Надо отрывок выбрать, требуют уже, а у меня ни фрагмента ознакомительного, ни синопсиса. Ты хоть его пришли!

В ушах поднимается гул, я уже не слышу – я вижу, как слова вылетают из-под жестких усов Зуева и летят в меня, чтобы побольней ударить, выбить всю эту дурь. А времени уже четвертый час. Катюша пробудилась, может, чайку заварила, попила чуток, села в креслице у двери и ждет. Ждет-пождет, когда же Мишенька ее прибудет, обещался к четверем. К четверем, родненький, обещался приехать. А Миша тут под шквальным огнем стоит. И никуда не едет.

– Ничего я вам не пришлю, – отмечаю я. – Опять кто-нибудь да сольет.

Зуев захлебывается возмущением, но я безжалостен. Я добиваю:

– Псевдоним слили. И текст сольют.

Было дело. Договаривались на берегу – быть Мишке Тетерину теперь иноземным автором, ребенком иммиграции, стонущей по Родине душой. А как первый тираж с предзаказа ушел, так сразу вся правда и всплыла. Кто выдал – неизвестно. Если есть на небе Боженка, спасибо ему за этот карт-бланш.

Зуев сразу оседает, кашляет, даже галстук дергает, как удавку.

– Нет так нет. Скажу, мистифицируешь, творческая, мать ее, личность.

Пора пятиться к двери, я дергаюсь было, но Зуев поднимает тяжелый взгляд, и ноги тут же отказываются слушаться.

– Но человека к тебе приставим.

– Какого человека?.. – Я совсем обессилел, я почти уже сдался, почти бросился на его широкую грудь со всей правдой, что спрятана у меня за пазухой, но только человека мне и не хватало.

– Редактора! Чтобы следил за тобой, чтобы к письму мотивировал, чтобы ты, стервец такой, аванс отработал вовремя! – Пудовый кулак с грохотом опускается на лаковую столешницу. – И не спорь!

Надо спорить, кричать надо, ногами дрыгать, обещаться уйти к конкуренту, благо тут недалеко, через два этажа. Но до четырех остается тридцать минут. Я чувю это кожей, мелким подергиванием желудка, легкой тошнотой и ватностью коленей. Полчаса. Ровно столько нужно среднестатистическому таксисту, чтобы довезти меня из точки А в точку Б. Из редакции – к Катюше.

– Хорошо, редактор так редактор, – выдыхаю я и поворачиваюсь к двери. – Только не эту...

– Ниночку? – хохочет Зуев. – Что ж я, совсем идиот? Хорошего подберу. Серьезного. Поможет тебе, текст причешет. Конфетку мне принесешь.

Я киваю. Я ничего не слышу. Время стремительно уходит. Среднестатистическому таксисту придется гнать.

– Ты уж постарайся, – просит Зуев на прощание.

Дверь распаивается бесшумно, за ней уныло щелкает клавишами редакция, в глубине женского туалета горько плачет Ниночка. Зуев ловит меня у лифта, обхватывает поперек туловища, плечом я чувствую его раскаленную подмышку. Тошнота усиливается.

– Ты уж не подведи, Миш, будь мужиком. Добей. Даже если херня вышла, – шепчет он доверительно. – Мы и херню продадим. Мы все продадим. Только добей в срок.

Подъезжает лифт, я уже не могу дышать, я и двинуться не могу, но заботливые руки Зуева толкают меня в зеркальное нутро лифта.

– Питер! Питер-то как? – вспоминает Зуев в последний момент.

– К черту! – рычу я, барабанив по кнопкам – все равно ехать к Неве, чтобы есть трдельники на книжном сборище посреди бывшей тюрьмы, нет у меня ни сил, ни возможностей.

Двери медленно закрываются. До четырех остается двадцать одна минута.

* * *

...Разумеется, я опаздываю. Таксист подгоняет машину к стеклянным дверям, неряшливо паркуется, заезжая правым передним колесом на тротуар. Стоящие в курилке смотрят неодобрительно, нервно втягивают дым, выдыхают резко, а я подбираю за ними табачный дух, как оголодавший выуживает последние картофелины из оставленной на столе упаковки из-под макдаковской фри.

Катюша ненавидит сигареты. Курение – волеизъявление завтрашнего мертвеца стать мертвецом сегодняшним. Мир так и норовит схватить нас за горло, Миша, а ты собираешься помогать ему, отстегивая по двести рублей за пачку толстосумам из правительства? Что значит, почему из правительства? А лоббирует это говнище кто? Так что я не курю. Только замедляюсь возле каждой курилки и жадно дышу чужим дымом.

Таксист выглядывает из окна, машет рукой, мол, шевелись давай, не видишь, я на аварийке стою? Вижу. Распахиваю дверь и ныряю в духоту салона. Пахнет химозной отдушкой, сиденья затерты до блеска. Пальто на мне стоит как два таких салона, но я молчу, я покорен, кроток и целеустремлен. До четырех осталось шестнадцать минут. Мы не успеваем. Не успеваем.

– Гони, – прошу я, но водитель не оборачивается.

Зато дает по газам. И как! Мы сдаем назад, вырливаем с парковки и несемся к шоссе. Я пытаюсь откинуться, но передние сиденья придвинуты слишком близко, колени больно упираются в темно-серую спинку с деревянными кругляшками массажера.

– Эй, шеф, подвинься, а? – Ноль реакции. – Подвинься, говорю, тесно. – Я хлопаю по краю спинки.

Таксист смотрит на меня через зеркало, сжимает руль и втапливает по газам. Впереди идущая «тойота» рывком уходит в сторону. Это мы перестроились в левый ряд. Кто-то оглушительно сигналист. Это мы подрезаем что-то маленькое, матовое и очень дорогое. Перехватывает дыхание. До четырех остается двенадцать минут. Я прижимаю колени к животу и опускаю на них лоб. Если мы разобьемся, это решит множество проблем. Да что там, сейчас все мои проблемы может решить таксист и его грязный «форд», знавший времена лучшие, чем эти.

Ни тебе горящих сроков, ни лобастого Зуева, ни четырех часов, к которым я обязан стоять на пороге, ни-че-го. Кромешная пустота. Абсолютная свобода. Повиснуть в ней, как в горячей воде, когда затылок опираешь на один край ванны, кончики пальцев – на другой, а сам висишь в раскаленном эфире, вдыхаешь соль и ромашку, растворяешься в смутном ощущении, что когда-то мир таким и был. Весь мир. Бесконечную девятимесячность, что закончилась потугами, болью, криком и увесистым хлопком по заднице. Первое материнское предательство. Первый урок – не доверяй никому, даже той, что была твоим домом. Лежи теперь в ванне, лови флешбэки, чертов родившийся неудачник...

Машина делает последний резкий крен и останавливается как вкопанная. Меня бросает вперед, носом в спинку.

– Ну ты даешь, – ворчу я. Разгибаюсь, щелкаю по часам, экран вспыхивает.

Семь минут пятого. Почти успел. Смотрю в стриженный затылок спасителя с нежностью, которую сложно вместить в слова. А вот в косарь на чай – вполне себе.

– Слушай, на вот. – Роюсь в кармане, выскиваю смятую зеленую купюру. – Очень ты меня выручил...

– Выхай! – мычит таксист и оборачивается наконец. – Аказ дугой!.. Ыхай, аварю!

Перекошенное лицо так отчаянно походит на Катюшино, что я упираюсь боком в закрытую дверь. Таксист замечает тысячу, которую я продолжаю сжимать во вспотевшем кулаке, скалится деснами, тянется толстыми пальцами. Я бросаю ему деньги, нащупываю ручку, щелкаю замком и вываливаюсь наружу.

– Айбо! – кричит мне таксист.

Машина рычит, откатывается от тротуара и срывается с места. А я остаюсь. Крупный озноб бьет меня очередями, в промежутке я успеваю найти телефон и даже разблокировать его. Наберут по объявлению, цирк уродов, мать вашу, попляшете у меня, все сейчас попляшете.

«К вам едет слабослышащий водитель! – радостно сообщил оператор такси, пока я трясся в лифте издательства. – Для уточнения места вашего положения просим не звонить, а писать в чат. Спасибо за сотрудничество!»

Суки. Суки. Суки. Удаляю эсэмэску. Ставлю одну звезду. На часах двенадцать минут пятого. До квартиры четыре этажа по лестнице. Перешагиваю через две ступени, пальто метет заплеванный пол. Давно нужно было переехать из этой дыры. Скоростные лифты, просторные лофты, услужливый консьерж у входа. Не ипотека, так аренда. Можно потянуть, если хочется. Если согласится Катюша. Но здесь нора, Мишенька, здесь дом, здесь не страшно, куда нам отсюда, нам и здесь хорошо, ведь хорошо? Или тебе не хорошо? Миша, тебе здесь плохо? Тебе плохо со мной? Чертова железобетонная логика имени Катюши Дониковой. Не переубедить. Не переломать.

– Опоздал, – говорит она, распахивая дверь за секунду до того, как я вжимаю палец в звонок. – Снова.

Времени натикало шестнадцать лишних минут.

– Это все Зуев. – Перешагиваю через порог, швыряю ключи, вешаю пальто, стаскиваю ботинки. На нее не смотрю – знаю, что увижу.

Теплое со сна голое тельце в плюшевом халате, обиженная кривая плеч, коса растрепалась, обвила шею кольцом. И глаза – серые, раскаленные обидой глаза.

– Хотел бы – успел, – чеканит она. – Ты там ходишь, а мне тут сиди. Чахни. Страдай. Я не ела без тебя, голодная, а ты небось там уже нажраться успел! – Шумно втягивает носом. – Вон, несет как! Пили, небось? С Зуевым?

Я устал. Я оборонялся весь день. Погибал от страха. Уворачивался от пуль. А она спала. А я нет. Я вообще уже не сплю, все думаю, все боюсь, ищу способы. Отметаю варианты. А она тут ноет. Ноет. Ноет.

– Чего молчишь?

Стискиваю зубы, отступаю в комнату, плотно закрываю за собой. Катюша мнет с той стороны, сопит, кряхтит, но не заходит. Чует, что я на пределе. Знает, когда нельзя давить. Хорошая моя. Умная моя. Моя. Кровь отливает от ушей, перестает бить по перепонкам. Все. Все. Тихо. Я дома. Здесь не страшно. Здесь хорошо.

Рассохшееся дерево поскрипывает, когда я глажу его – осторожно, просяще даже. Впусти меня, защити меня. Дверца распаивается, из темноты тянет пылью и бархатом. Тяжелый аромат сандала и мускуса бьет наотмашь. В плохие дни я почти не вижу разницы между тем, что

потеряно, и тем, что воссоздано мною самим. По памяти, по слабым отголоскам, по образам, вспыхивающим во сне.

Наклоняю голову – то ли кланяюсь, то ли боюсь удариться макушкой о низкий потолок убежища, – забираюсь в него и тяну за собой дверцу. Все исчезает. Ничего больше нет. Только я, темнота, запах и слабые прикосновения – текучий шелк, нежный бархат, строгая парча.

– Миша, – жалобно скребется снаружи Катюша. – Миша, ты там? Ты снова там? Миша? Пожалуйста, выйди ты из своего шкафа. Миша!

Но я не слышу. Меня нет. Катюши нет. Есть текучий шелк, есть нежный бархат, есть строгая парча. Есть альдегид и тубероза. И ничего больше. Ничего больше нет.

Мне опять пятнадцать. Матушкин шкаф распахнут настежь. Темная парча с крупным узором – золотые ветки и цветы. Тончайший шелк, как прохладная вода, скользит между пальцами, стоит только прикоснуться. Черное кружево, кожа, клетка, вытачки, сетки, прозрачный шифон. Плотный трикотаж, алый бархат, нежная вискоза. Немного хлопка, почти нет льна – слишком хлопотно, мнется. Юбки, блузы, укороченные пиджаки, снова платья – до самого пола, высшей утонченности и красоты.

Я хватаю не глядя – только одно, пусть оно будет платьем вечера. Поднимаю на руки так, чтобы подол опустился нежным изгибом несуществующих бедер, а верх остался у моего лица. Прикосновение шелка, острый укол наслаждения, мурашки по голой коже.

Мы кружимся у старого зеркала. И материнская – неубранная, запыленная по углам – комната растворяется, оставляя лишь нас. Я – голый, щуплый пятнадцатилетний пацан с первыми волосками на подбородке, и оно – платье, которое я выбрал этим вечером.

Пальцы подрагивают, когда я тяну вниз застежку, а сам трясусь в ознобе, проскальзываю внутрь манящей прохлады и гладкости. Одно мучительное мгновение борьбы – и вот я в нем. С легким шелестом подол опускается к ногам, скрывает их нелепую неудобу, кривизну и волосатость, даже корсаж садится ладно. Я в пятнадцать почти догнал уже матушку, и мы с ней неуловимо похожи, только в бедрах она шире, но длинный подол и это скрывает, слава тому, кто его придумал.

Я правлю штрихи – рукава, вырез, пояс, – и наконец смотрю на себя. Нет, не на себя. В деревянной раме кто-то другой. Другая. Высокая, худая до костяной белизны красавица времен Чехова. Короткие волосы только добавляют сходства. Синий шелк делает меня трагичнее: глаза – глубже, черты – тоньше. Острый росчерк ключиц поднимается над вырезом, благо, мама не может похвастаться дородным бюстом, так что платье не висит на мне и там. Я красив. О, как я красив. Я улыбаюсь себе и зеркалу, в котором прячется она, в котором отражаюсь я. Это моя минута. Наша с ней. Никто не отберет. Мне пятнадцать, я в шелковом платье, я красив, я всесилен. Я счастлив.

Но время утекает, возбуждение сменяется страхом, да что там – ужасом быть пойманным. И я срываю с себя платье, комкаю его, втискиваю на вешалку, захлопываю дверцу шкафа и убегаю к себе.

Мать убьет меня, если увидит таким. Точно знаю, что убьет. Одним ударом повалит на пол и забьет ногами, а когда притихну, опустит на висок что-нибудь тяжелое, подсвечник например. Проще некуда. Я люблю представлять, как она это делает. Придумываю способы. Решаю, куда она спрячет тело. Станет ли переодевать? Станет, конечно. Сорвет платье, но повесит в шкаф аккуратно, дорогая вещь – не фунт изюму. А дальше? В мешок и в Клязьму? Вариантов мало.

Сейчас я лягу на диван – голый, липкий, дрожащий – и буду вспоминать, как смотрела на меня незнакомка из зеркала, как ласкал ее шелк, как щекотало кружево. Сейчас я расскажу Катюше. Если мне пятнадцать, то она живет в моем телефоне. Мы обмениваемся голыми буквами. Ни тебе стикеров, ни тебе фоточек и голосовых. Буквы. Чистые буквы на мигающем экране. Привет. Привет. Как ты? А ты? Снова достают? А тебя? Ты держишься? А что? Ты

держишь, если ты не удержишься, то и я нет. Так я держусь. Хорошо. Хорошо. С ней так просто, с моей Катюшей. Не нужно врать, юлить, выдумывать. С ней так спокойно. Мне пятнадцать. И я уже могу написать ей.

«Я опять это делал».

«Расскажи!»

«Не могу, не знаю таких слов».

«Тогда я угадаю. Ты сегодня был в шелке, да? Синем, правильно?»

Ты каждый раз угадываешь, радость моя, ни разу не ошиблась. Ты со мной. Мне пятнадцать, я был в мамином платье, а теперь я голый, липкий и дрожащий. Но ты рядом.

– Миша! Миша мой, Миша... Тихо, я рядом, – шепчет Катюша.

И та в мамином платье, что уже не я, окончательно гаснет. Но где-то же она остается, ведь остается же? Шкаф надсадно скрипит, пока я выбираюсь из него, пока прикрываю дверцу – осторожно, чтобы не защемить подолы и рукава. Катюша стоит на пороге, смотрит пристально. Не осуждает. Она вообще не умеет осуждать. Злиться – да, пакостничать, ныть, раздражаться и раздражать, настаивать, давить, выпрашивать, ворчать и скрипеть. Но никогда не осуждает. И это оправдывает любой глагол, ей подвластный. Я подхожу ближе, от меня пахнет тяжелым парфюмом, от нее – сонным теплом. Я наклоняюсь, осторожно приподнимаю ее изумительное лицо за острый подбородок и целую. В эту секунду я влюблен. Нет, не так. В эту секунду я люблю ее всем собой. Всем, что имею.

В эту секунду я целен. И спасен.

Я вышел из шкафа. Но я в шкафу.

Тим

Договорились они на семь вечера, а семь в конце сентября – это уже почти вечер, густые сумерки, предвестники скорых морозов. Тим вышел из метро, проскользнул в щель между тяжелой дверью и железными воротами. Аллейка, что отделяла станцию от дома, тянулась метров пятьсот. Летом одуряюще пахла сиренью, зимой промерзала до хрусткой корочки на плитках, в сентябре же была абсолютно безликой, сероватой, подсвеченной рассеянной желтизной фонарей.

Тим шагал по плиткам, стараясь не наступать на границы стыков. Детская примета, но стоило промахнуться и опустить-таки ногу между двумя плотно прилаженными шершавыми краями, как внутри становилось тревожно.

С утра, только разлепив сведенные ночными мытарствами глаза, Тим сразу понял – день предстоит тот еще. Вскочил, попал мимо тапочек, чертыхнулся и потащил себя в душ. Редакционный день начинался ближе к одиннадцати, график плавающий, если день и в офисе, то все равно – свободнее не придумаешь, и выспаться можно, и собраться, даже на утренний кофе успеть, но это если ночью не потолок глазами сверлишь, а спишь. Как все нормальные люди, видишь во сне барашков и покойных родственников, опаздываешь на поезд, ключи теряешь, а находишь таинственного незнакомца, который в самый ответственный момент обращается в Кольку Денисова – соседа по парте, главную любовь всего пятого «В». Снов Тим не видел уже давно, настолько, что и забыл уже, как все в них зыбко, как все упоительно.

Вместо этого каждую ночь на него нападала странная заторможенность. Стоило только опуститься на подушку, как мысли становились липкими и холодными. Можно было лежать неподвижно, наблюдать, как разливаются лужами света отблески фар, и выдумывать, куда они прутся на ночь глядя, или прислушиваться к бубнящему телевизору у соседей – нескончаемые новости, надрывные крики старых боевиков и редкие стоны чего погорячее. Можно было включить свет и уткнуться глазами в книгу, набрать ванну и лечь на дно так, чтобы горячая вода и пена сомкнулись над головой. Можно было позвонить Таньке Ельцовой из отдела маркетинга и провалиться в дремоту под ее пустое чириканье. Или выпить вина. А лучше – запить

вином пару таблеток успокоительного. Варианты спасения приходили в тяжелую голову Тима утром, когда трель будильника выдирала его из липкого киселя на волю. Ночью же он просто лежал, растворяясь в темноте под опущенными веками, и слушал, как отсчитывают время бабушкины ходики на стене.

– Не ешь ничего, вот и ходишь квелый, – кудахтала бабушка. Поджимала губы и уходила к себе, пока Тим пытался найти глаза на своем бледном в синеву лице.

– Тебе бы в отпуск, Мельзин, – многозначительно качала головой Танька, сталкиваясь с ним в лифте, и тут же переводила разговор на свое.

– Дружочек, это все тревожность ваша, вот бы понять, отчего она, – разливал по фарфоровым чашечкам янтарный чай и сочувствовал Григорий Михайлович, и Тиму тут же становилось легче.

С Данилевским ему вообще было очень легко. Тим почуял странное их родство сразу. Стоило только налететь на хрупкую, не по возрасту прямую фигуру на входе в аудиторию. Стоило выбить из рук папку, уронить свою и ринуться поднимать, вспотев от нелепости вот этого всего. Стоило услышать над пылающим ухом незнакомое еще покашливание, насмешливое его извечное «дружочек», чтобы сразу все понять.

Пять курсовых, один диплом. Командировки в Питер и Казань. Форумы на Клязьме. Три статьи в «толстяках», общая научная работа уже по выпуску. Данилевский вел его, осторожно поддерживая за локоть на поворотах. На кафедре посмеивались, мол, седина в бороду, бес сами знаете куда. Надо же, столько студенточек, а выбрал кого?

Тим сидел в его кресле, обитом бархатом, которое и на первом-то курсе требовало срочного ремонта, а к пятому и вовсе запылило весь лоск, смотрел, как склоняется над очередным срезовым эссе Григорий Михайлович, и ломал голову: почему он? Школа без медали, институт без красноты, успехи без ошеломления, рвение без особых высот. Данилевский поднимал голову, щурился через толстые линзы очков.

– А может, чайку заварить, как думаете?

И Тим заваривал чай.

Их время текло за этим чаем, за разговорами бесконечными: то о прошлом – тогда слово ценилось тихое, дружочек, чем тише, тем оно честнее было, то о настоящем – не за литературу сейчас, все за пироги, а жаль, сколько хорошего могло быть написано, да незачем, то о будущем – помянешь слова мои, Тимур, бумажную книгу так просто не истребить, она еще поборется, со всеми поборется.

Данилевский стал еще суше, еще медленнее, оборачивал спину мохнатым платком, щурился крепче, говорил тише, но держался все так же прямо, все так же родственно и тепло. Тим приезжал к нему из редакции, привозил сигнальники и спорил над правками. А когда старик засыпал, сидя в бархатном своем кресле, тихонько уходил на кухню. Отмывал пригревшую яичницу от сковороды и забивал низенький, советский еще холодильник готовыми котлетами, чтобы только разогреть, и ужин готов. Ел Данилевский мало, худел быстро. Тим ловил взглядом слабые движения его иссохших, в переплетении синих вен рук, и внутри него ворочался страх.

– Вы давно у врача были, Григорий Михайлович?

– От старости, дружочек мой, нет лекарства кроме одного, самого надежного, – отвечал тот, улыбался широко и рассеянно. – Может, чайку?

– Что ты к нему шастаешь? – возмущалась бабушка. – Нет бы девушку себе нашел, все со стариком возишься.

– Три года как защитились, пора бы и честь знать, а? – зубоскалила Танька. – На красный диплом так и не высадил у него, а все сидишь зачем-то.

– Вам нужно больше гулять, Тимур, не тратьте время на пыль и тлен, – мягко просил Данилевский, но смотрел с таким отчаянием, что Тим оставался, заваривал еще чаю, разливал

его по фарфоровым чашечкам, слушал, как из этого же сервиза пила однажды коньяк Беллочка Ахмадулина.

В тот день они договорились на семь. Тим успел прикорнуть на короткий час, когда заторможенность отступала, позволяя телу провалиться в блаженный сон, закончил корректуру, пробежался по ней еще раз и даже отправил на верстку очередной бодрок о космическом десанте. Оставалось зайти в магазин, у Данилевского как раз закончились сахар кусочками и таблетки от давления.

Перешагивая границы плиток, Тим перебирал в голове все возможные тактические ходы в назревающей игре – отвести к врачу упертого старика. Очень уж тяжело дышалось Григорию Михайловичу в последние недели, очень уж долгой выдалась зима, очень уж давно он не спускался во двор, медленно прорастая в побитый временем бархат кресла. Телефон ожил в кармане куртки, завибрировал нервно, и Тим тут же потерял мысль.

Звонил Зуев. Звонок, настойчиво рвущий карман, не предвещал ничего хорошего. Не будет же главред искать его в семь вечера, чтобы похвалить за работу над проходным боевичком про попаданцев? Нет, если он звонит, значит, жди беды. Уж беда себя ждать не заставит. Еще и нога опустилась прямо на темный стык между плитками. Тим заставил себя глубоко вдохнуть и достал телефон.

– Да? Я вас слушаю.

– Вы мне нужны, – без приветствий начал Зуев. – Прямо сейчас. Приезжайте.

– Но я... – До дома Данилевского оставалось два квартала.

– Это срочно... – Зуев сбился, вспоминая имя. – ...Тимур, это жизненно важно. Жду.

И дал отбой.

Пришлось набирать Данилевского.

– Дружочек, а я уже вас потерял, думаю, где же Тимур, чай стынет, новый выпуск «Знамени» трепещет, ожидая внимания нашего, – затараторило-заскрипело на том конце.

– Григорий Михайлович, меня вызвали на работу, – пробормотал Тимур, морщась от жалости и вины. – Вы простите, но надо ехать...

– Вызвали? – дрогнувшим голосом откликнулся Данилевский, но тут же собрался, вспыхнул тысячью ободрений: – Повышать спешат! Никак иначе! Конечно, поезжайте, милый мой. Никаких сомнений, повышать спешат!

– А таблетки?..

Записочка с точным названием таблеток, выписанным аккуратным почерком Данилевского, лежала в кошельке. Кто назначил их и когда, Тим не знал, но бегал за ними исправно, дважды в месяц, не без стеснения запуская руку в шкапулку, где собиралась небогатая профессорская пенсия.

– А что таблетки? Уж протяну. Не думайте обо мне даже.

Голос Григория Михайловича тускнел, но тон оставался бодрым.

– Я завтра приеду, – пообещал Тим. – Днем буду у вас.

– С хорошими новостями, дружочек! Приезжайте с хорошими новостями! – и нажал отбой.

До метро Тим шел, с силой наступая на плиточные ребра. Детская примета уже сработала, и бояться ее теперь смысла не было.

...Зуев встретил его у лифта, что само по себе выглядело совсем уж невозможным. Стоял себе, прислонившись к выкрашенной в беж стене, крупные ладони прятал в карманы брюк, по правой штанине расплзлось неопрятное кофейное пятно. Его Тим первым и увидел, вцепился взглядом в блеклые очертания пролитого на дорожную шерсть кофе и заостенел в двух шагах от ее обладателя.

– Приехал, – утвердительно кивнул Зуев и оторвался всем своим литым массивом от стены. – Пойдем подышим, дело есть.

Пришлось выходить на лестницу, подниматься половину пролета и ждать, пока Зуев отопрет дверь личным ключом. Выходить на запасной балкончик было строжайше запрещено, но правила пишутся не для всех. Зуев выбрался наружу, похлопал себя по карманам, нашел пачку и тут же закурил.

– Будешь?

Тим замотал головой. От сигаретного дыма его тут же начинало подташнивать, голова становилась тяжелой, а мысли вытягивались, становились такими же неповоротливыми, как в часы бессонья. Не будь перед ним начальник, может, он бы и попросил не курить, но Зуев не спрашивал. Крепкая и короткая сигарета смотрелась продолжением его крепких и коротких пальцев. Он зажал ее между желтоватых зубов, нагнулся к зажигалке. Тим поглядывал на него с интересом. Зуева, который обычно сидел в стеклянном кубе посреди редакции, и представить было сложно таким – курящим на ветру и прямо здесь решающим что-то в своей квадратной голове.

– Тетерина знаешь? – спросил он, затягиваясь.

Смутно знакомая фамилия вспыхнула в памяти, но тут же померкла. Опять не в теме.

– Нет.

Зуев выдохнул дым, стряхнул пепел.

– Ну как нет-то? Знаешь. Михаил Тетерин. Бестселлер-мейкер, блядь. Пидорок этот. Понял?

Слова он цедил, не разжимая зубов, сигарета подрагивала в такт каждому. Думай-думай, взмолился про себя Тим, вспоминай. Давай. Михаил. Тетерин. Продающийся автор. Пи-дор-рок. Ну? Последнее определение лучше пропустить мимо. От него мерзко пахло. Пауза затянулась. Зуев потушил сигарету о металлическое ограждение и сбросил окурочек вниз. Десять этажей стеклянного роскошества. Сколько-то метров тотального снобства.

– Михаэль Шифман, – медленно произнес Зуев и развернулся к Тиму лицом.

Носорожки глазки вцепились смертельной хваткой. Соображать стало еще трудней. Тим судорожно сглотнул.

– Переводной?

– Если бы. Свой. Вспомнил?

Картинка наконец сложилась. Тетерин. Не человек, а ворох одежды. Узкие джинсы, рубашки навыпуск из-под свитера, шарфы внезапных оттенков, дорогущее пальто в сочетании с истоптанными кроссовками. Двести тысяч тиража. Семь допов. Острый парфюм с пугающим шлейфом. После него кто-то обязательно открывал окно. Запах творчества, шутил Зуев и просил кофе, чтобы этот самый запах перебить. Пустота, выданная за гениальность. Ширпотреб, проданный по цене антиквариата. Золотая антилопа. Этот пидорок.

– Вспомнил, – кивнул Тим и застегнул верхнюю пуговицу на куртке.

Ветер дул прямо в лицо. Внизу он еще пах прелой листвой, здесь же вся холодная его память бушевала будущей слякотью и снежной кашей, приправленной реагентами. Хотелось вернуться в тепло.

– Не пишет, с-с-сука. – Зуев опустил тяжелую ладонь на ограждение и сжал его так, что побелели костяшки волосатых пальцев. – У нас подвешено на него ураться сколько. А он нос воротит. Демиург сраный. Не дави, говорит. Я пишу, говорит. А у меня план горит.

План и правда горел. Всегда. Тим, далекий от перипетий общения с авторами, пропускал ядовитый шепоток сплетен мимо ушей. Мало ли кто кого подвел, мало ли у кого какой кризис.

– Будешь его подгонять, – без особого перехода решил Зуев и хлопнул ладонью, подводя итог. – Срок вам до середины октября. Выбьешь из него, что там есть уже. Поредочишь, чтобы

читаемо было, пока он дописывает. К «нонфику» книга должна выйти. Головой отвечаешь, понял?

В Зуеве клокотало столько злости, что у Тима перехватило горло. Он пробормотал что-то невнятное, закивал поспешно, не думая толком, чего будет стоить ему эта работа. Согласен. На все согласен. Только отпустите. Дайте вернуться в тепло. Дайте передохнуть. Зуев смотрел в упор, маленькие глазки покраснели от натуги. Он злился. Кипел невымещенной яростью. Еще чуть, и начал бы рыть землю под ногами, выискивать цель.

– Номер у Анны Михалны возмешь. Чтобы завтра приступили к работе. Отчитываться будешь лично передо мной.

Еще два кивка.

– Чего стоишь? – Зуев вытряхнул из пачки очередную сигарету. – Иди давай. И Самохину мне найди, где она там? Пусть сюда идет.

Тим нащупал ручку двери, повернул, дернул на себя, потом вспомнил, что нужно толкать, замешкался, забился. Дверь поддалась с третьего раза. Зуев так и не обернулся. Липкий от тревоги, Тим заглянул в офис. В редакции повисла напряженная тишина.

– Анна Михайловна... – Шепот вышел сдавленным.

Щуплая старушка оторвалась от бумажек. Ее тонкая шея в складках обвисшей кожи вытянулась, как флагшток.

– А Нина где? Самохина Нина.

Анна Михайловна пожевала сухонькие губы, поправила очки, даже воротничок, и тот дернула, чтобы острые углы легли ровно.

– То и дело в дамскую комнату бегают, – наконец ответила она и посмотрела осуждающе, будто Тим в этом виноват. – Плачет.

Тишина стала совсем уж неподъемной. Идти через всю редакцию, искать Самохину и добивать ее вызовом к начальству не хотелось.

– Передайте, пожалуйста, что ее вызывает Зуев, – попросил Тим, старательно игнорируя внезапную враждебность. – Он на балконе.

– Передам, – пожала плечиками Анна Михайловна и тут же вернулась к работе.

– Мне бы еще номер, – вспомнил Тим, – Михаила Тетерина.

Старушка вспыхнула, даже слеповатые глаза блеснули угрозой. Высохшие пальцы опустились к визитнице и запорхали там, выудили нужную бумажку. Технического прогресса в мире Анны Михайловны так и не случилось.

– Спасибо. – Тим наклонился поближе и вбил записанный прилежным почерком поставившей отличницы номер в телефон. – Вы не знаете, что с Самохиной случилось? Зуев злой как черт...

– Вы уж сами разбирайтесь, – процедила Анна Михайловна и еще раз дернула себя за уголки рубашки. – Я в ваши дела не лезу. Мне они ни к чему. У меня своих дел по-гор-ло.

Сумасшедший дом. Какой же это сумасшедший дом. Все кругом психи. И Тетерин этот. Не было печали. И на тебе. Тим выскочил из офиса и забарабанил по кнопке лифта. Тот шумно дернулся в глубине шахты и пополз. Ползти он мог долго. Хватит времени на один короткий деловой звонок. Неприятное делай сразу, неча кота за хвост тянуть, говорила бабушка. Тим привык ее слушаться.

Терпения хватило на два гудка. К третьему Тим решил перезвонить позже, но на том конце шелкнуло:

– Да?

– Михаил?

Связь сбивалась, добавляла металлический треск.

– Да.

– Это ваш редактор, меня только что назначил Зуев, Константин Дмитриевич. Вы же в курсе?

– Да.

Надо же, какой разговорчивый.

– Когда и где вам будет удобно встретиться?

Лифт уже преодолел половину пути, а Тетерин все молчал.

– Михаил, вы тут?

– Да. – И снова трескучая тишина.

– Нам нужно встретиться. Лучше завтра. Вы свободны?

– Да.

– Отлично, где вам удобнее?

Ответь он «да», Тим бы захохотал и бросил трубку. Но лифт замер на седьмом, а Тетерин прокашлялся и заговорил.

– «Проспект Мира», давайте там. У выхода с кольца. В два.

Лифт со скрежетом остановился и распахнул двери.

– Договорились. – Тим хотел сказать что-то еще, но в трубке опять щелкнуло, и звонок оборвался.

Только на первом этаже Тим понял, что завтра в два рассчитывал сидеть напротив Данилевского, пить чай и уговаривать старика записаться к врачу.

2. Нет холодной, одна горячая

Я

Ненавижу телефоны. Мудачки коробки, подключенные ко всеобщему коммутатору. Алюминиевые чудища, что не дают нам покоя, лишают права на тишину и тайну. Только вдуматься – каждое, самое малое, самое бессмысленное слово транслируется в безвоздушное ничто, ловится спутником, пережевывается им, сплевывается обратно и только потом достигает адресата.

– Михаил? – поскрипывает на том конце, и я ощущаю, как раскалилось холодом мое имя, пролетев через вакуум небытия.

– Да, – соглашаюсь, предчувствуя, что ничего хорошего мне не светит.

Номер неизвестен. Голос противен. Я сижу на скользком табурете, голым коленом упираюсь в ножку стола. На тарелке передо мной остывают макароны с маленькими тефтельками, покрывается жирной корочкой томатная жижа. Катюша смотрит на меня через стол. На бежевом плюше ее халата засохло бурое пятно, я знаю, что это подлива брызнула со сковороды – чуть не обожглась, представляешь, Миш? Так спешила, а ты все не ехал, не шел, ничего я не начинаю, молчу-молчу, ешь давай. Пятно пахнет жиром и протухшей кухонной тряпкой, весь мир мой так пахнет, но я все думаю, что это не подлива, что это кровь. Думаю, пугаюсь, представляю, пугаюсь еще сильнее. Засовываю в себя переваренные макароны, трамбую их раскисшим в подливе фаршем. Обычный вечер в нашем доме, ничего такого. И тут звонок.

Катюша каменеет, обрывается на половине слова. Я не особо-то слушал, там что-то про соседку было, есть у нас одна, совершенно бесноватая. Что вы там топаете? Почему у вас вода всю ночь шумела? Эй, мужчина, я с вами говорю! Нет, вы посмотрите на него, запахнулся бы хоть, нахал! А я стою босиком в одном халате, и мне дует по полу, и запахнулся я уже крепче некуда, и ничего у нас не шумело, никто у нас не топал. Вот теперь и Катюша на нее нарвалась. Топаем мы громко, вода шумит, музыка бормочет. А не пошла бы ты, тетя, в пешее путешествие по известному адресу? Катюша расплывается, идет пятнами, но тут звонок, и она каменеет. Обращается в слух. Наполняется едкой подозрительностью.

– Да, – отвечаю я на все вопросы редактора, приставленного Зуевым.

Слышно отвратно, из трубки доносятся сопение и щелчки, но даже по придушенному, чуть слышному через беззвездное пространство голосу понятно, что проблем с редактором не оберешься. Прицепится, как клещ. Разнюхает, как ищейка. Откладывать некуда, я загнан, затравлен, кругом враги, и белый флаг мой никого не устроит. На том конце от меня чего-то требуют. Безликий голос уходит в трескотню и шум, но просит назвать время, место, указать дату, принять на себя ответственность, спасти детей в Африке, вылечить рак. Не знаю, неважно. Как только закончится этот разговор, начнется другой. И нет мне спасения. Не могу представить себе, кто говорит со мной, металлический скрежет рубит на корню всякие попытки представить, какой он – новый мучитель. Толстый дядька с усами? Рахитичная старуха в меховой безрукавке? Внегендерная особь, взращенная в пробирке? Разницы никакой.

На автомате называю первый попавшийся адрес, среднее время, пустую точку геолокации. Вешаю трубку.

– Кто? – цедит сквозь зубы Катюша. Ее кукольные глазки подергиваются опасной дымкой, бледнеет ровная, без единого изъяна кожа.

– Редактор мой. Новый.

– А старый где?

По первости мной занимался какой-то безликий одутловатый дядечка с тоскливыми глазами брошенного сенбернара. Как только продажи полезли вверх, всеми вопросами занялся лично Зуев, а дядечка исчез, растаял в сером тумане своей бессмысленности, будто его и не

было. Я потом порывался найти, всучить коньяк, руку пожать, мол, спасибо за помощь на первых порах, но так ни разу на него и не наткнулся, а спросить не спрашивал, имя само собой вылетело из головы.

– А старый ждет рукопись, – бросился я в атаку. – Готовую. Чтоб от первой главы к эпилогу. Алок на десять хоть. Сроки горят. Понимаешь?

Катюша уже отдает синевой. У нее часто так. Вот только была в персиковом спокойствии – и сразу покойница, и пятна по щекам. Страшно, аж жуть. Только обратного пути у меня нет. Я складываю руки на груди, как могу отгораживаюсь, но глаз не отвожу.

– Он чего меня вызывал, думаешь? Требуется текст. Хотя кусок ознакомительный. Хотя синопсис. Хотя что. А я с пустыми руками приперся. Опять.

Катя отталкивается от стола, нащупывает голой ступней пол. Все медленно, будто в воде. Устрашающе неспешно. Не рыба даже – холодная улитка с горбом вместо панциря.

Когда она стоит, а я сижу, то не приходится к ней наклоняться. Глаза в глаза. Серая яростная муть. Меня продирает, но я держусь. Только вилка дрожит в пальцах, зачем схватил, не обороняться же, хотя занятно было бы взять и пырнуть ее прямо в мягкое. В щеку. В правую мясистую грудь, мелькнувшую в ворота халата. В розоватое бедро с внутренней части, там, где самое теплое, самое нежное. Один удар. Три маленьких отверстия. Это не кровь, милая, это томатный сок, подлива удалась на славу, ты гений. Идеальное преступление.

Катюша будто чувствует, читает мысли по глазам. Отступает, запахиается так, чтобы ни груди, ни бедра. Поджимает губы.

– Скажи ему, что нужно больше времени.

– Говорил. Много раз уже говорил.

– Скажи еще.

Она морщится.

– Сок будешь? Гранатовый есть...

И всегда так. Стоит заговорить, упомянуть только, а она уже – раз! Увильнула, слилась, вышла сухой и целой.

– Не буду. – Вилка полетела в сторону, табуретка со скрипом отъехала от стола. – Ты понимаешь, что все сроки вышли? Это что тебе, игрушки, что ли?

– Отпусти, – просит она, и я понимаю, что держу ее за обе руки так крепко, что по мягким запястьям уже разлилась обидная краснота.

Разжимаю пальцы. Она стоит вплотную. Я чувствую ее тепло, слышу, как тяжело она дышит, всхлипывает, но не плачет. Коса окончательно расплелась, волосы заколтунились. Вина режет меня, выворачивает наизнанку, но я держусь.

– Катя, нужен хотя бы синопсис, прямо сейчас нужен. Сможешь?

Она шмыгает, утирает нос рукавом халата.

– Ненавижу синопсисы.

– Я знаю. – Это почти капитуляция, ликование клокочет в горле, но я позволяю себе только приобнять ее, аккуратно, без лишних сантиментов. – Но надо. Отдадим Зуеву. И он отстанет. Эту свою... – Имя редактора я не расслышал. – Ну, эту, звонила которая, отзовет. Ее только нам не хватало, да?.. – Я продолжаю говорить, но Катя освобождается из фальшивых объятий, ее тельце тонет в плюше, надо купить ей другой халат – шелковый, текучий, в этом она слишком уж похожа на эвока.

– Так это что? Баба?

Я беззвучно ахаю. Я опять все просрал. Шаткое превосходство нарушено. Краткий миг победы безвозвратно канул в огонь Катюшиной ревности. Будь новый редактор хоть столетним старцем с удаленными гениталиями, для Катюши он стал бабой. Все потеряно. И пламя ее не пощадит ни единого аргумента, даже самого веского. Баба-баба-баба. Ба-ба. Не девушка, не женщина, не, прости меня, Господи, редакторка. Баба. Нет в мире большей мизогинии, чем та,

что бушует в сердце Катюши. Я пропал. Я погиб. Я виновен по всем статьям, просто потому что редактор мой – не редактор, а баба.

– Да какая разница, – лепечу я, но разговор закончен, и сам я уже верю, что редактор обладает всеми признаками рода искусьительниц и грешниц.

Катюша дергается, обрывая жалкие попытки снова ее обнять.

– Скажи этой своей... бабе, что рукопись будет, когда будет, – ядовито подводит итог она.

– Зуев потребует аванс назад. – Я жалок, тосклив, я сам себе гадо, но я все еще хватаюсь за надежду вразумить эту фурию, этот комок злой ревности, горбуню эту чертову, что же делать мне еще, что делать, нечего делать, нечего.

– Так верни, – равнодушно соглашается Катюша, деньги ей не нужны, деньги для нее пустое, бумажки с блеклыми надписями, засаленные фантики, грязь и тлен.

– А жить мы на что будем? – кричу я и тут же проигрываю, тот, кто кричит, уже побежден, это известно всем, особенно Катюше, мастеру беззвучной ненависти и шепотной борьбы.

– Ты еще поори мне, – фыркает она. – Соседка вломится – я тебя сдам. Ты тут, собственно, не прописан.

Скандал становится унижительным. Я барахтаюсь в нем, как в мясной жиже. И тону. Да что там, я уже на дне.

– Послушай, пожалуйста, просто послушай меня, – умоляю, лебежу я, хватаюсь за плюш, но он выскальзывает из пальцев. – Нужно хоть что-то. Отрывок, кусочек, план. Прямо сейчас нужно. Я пошлю им, они отстанут. Один маленький кусочек, Кать... Очень надо!

Она смотрит на меня с удивлением. Нет, с отвращением она смотрит. Так разглядывают таракана. Вот он выполз из-под кухонной плиты, весь из себя хитинистый и мерзкий, шевелит усами, перебирает лапками. И ты, конечно, раздавишь его, прямо сейчас раздавишь, но даешь себе секундочку просто посмотреть, поудивляться, какой только мерзостью не полнится матушка Земля.

– Это тебе надо. – Катюша неумолима. – Вот садись. – Подошва ее домашнего тапочка нависает надо мной и безжалостно опускается. – И пиши.

Я раздавлен. Мой хитиновый панцирь лопнул. Мелкая кашица внутренностей размазалась по полу. Усов не осталось, лапки еще подрагивают, остальное уже мертво. Удивление исчезает с лица Катюши, остается только брезгливость. Она гасит на кухне свет, я остаюсь в темноте. Нужно бы доесть макароны, пока не слиплись. И выйти из окна.

Не выхожу. Макароны с тоскливым всхлипом канули в бездонный слив унитаза, только алая пленочка подливки блеснула на прощание и скрылась в недрах канализации. А я остался. Постоял немного в пустом коридоре. Обои, потемневшие от времени, тихонько поскрипывали, и казалось, будто это дом дышит неглубоко и чуть слышно, как уходящий старик, еще тут, а на деле уже нет, на деле уже далеко-далеко, отсюда не увидеть.

Сколько лет этому дому? Сорок, наверное. Реновация пока не добралась до его влажных стен и углов с бархатцем плесени. Он еще стоит, неумолимый великан пяти дряхлых этажей. Старый-старый, скоро рухнешь от прицельного удара. Как их сносят? Разбирают? Взрывают? Бьют по стенам пудовыми молотками? Или как у Крапивина? Тяжелый шар безжалостной машины. И ребячий строй у хлипкой двери, мол, не пустим, не пустим к доброму другу могильщиков со стороны. Кажется, так это было. Читалось в школе, мечталось, что прилетит вдруг волшебник в голубом самолете по имени Сережка, унесет в страну, где нет мудацких одноклассников, стервы класснухи и сумасшедшей матушки, прости Боже душу ее грешную. И меня прости.

Вот я стою, обои скрипят, мысли думаются, память ворочается в сознании, выдает рандомные сведения о бессмертной душе. Но скрип все сильнее, все отчетливее, и я понимаю, что обои больше не одиноки. Это Катюша возится в шкафу. В моем шкафу! Отворяет разошедшиеся створки, тянется на носочках к высоким полкам, трогает складки, нюхает шлейфы.

– Сука! – кричу я и врываюсь в комнату.

Но поздно. Она уже собралась. Покачивается на каблуках, держится рукой за дверцу, чтобы не упасть, но смотрит решительно. Всей серостью безразмерных глаз.

– Что? – спрашивает. – Теперь моя очередь. Ты сегодня нагулялся, я гляжу. С Зуевым пил?

Я молча киваю, я уличен и посрамлен.

– С бабой по телефону трещал?

Сухие «да» и адрес встречи. Виновен по всем статьям. Еще один кивок.

– А теперь мое время, – решает Катюша и растягивает выкрашенные моей помадой губы. – Застегни лучше!

Она выбрала изумрудное платье со спущенным рукавом. Ткань плотная, но мягкая, подол длинноват, но терпимо. Все-таки каблуки. Правое плечо выпирает горбом. Нет, я знаю, что это не горб. Искривление. Родовая травма, потянули неудачно, поздно зафиксировали. Знаю. Видеть, как ее уродство растягивает принадлежащее мне, больно почти физически. Но я молчу. Я заслужил наказание. Вот и оно.

Между двумя половинками молнии виднеется кожа. Розоватая, в нежных пятнышках, как перепелиное яйцо. Прикасаюсь к верхнему позвонку, пробегаю вниз. Легко-легко. Иногда срабатывает. Катюша вздрагивает, выскальзывает из платья и падает мне в руки, только успевай подхватить и оттащить в постель. Но сегодня она непреклонна. Передергивает плечами, и я покорно тяну вверх застежку. Волосы она успела собрать в тяжелый пучок, обнажила шею. Шея у нее красивая. Бледная, бархатная, полная, но чувственная. Такую хочется целовать. И стискивать до хрипа тоже хочется. Но я держусь. Жду, пока она насмотрится в зеркало. Мое зеркало, глубокое и мутное, с россыпью внутренних пятен, похожих на внимательные глазки. Жду, пока натянет пальто, это я прикупил ей в подарок – роскошество необычайной степени, нежная шерсть, точный фасон.

– Не замерзнешь? – спрашиваю, прислонившись к косяку двери.

Катюша не отвечает, входит в облако парфюмерной взвеси, замирает в нем, наслаждается удом и белым деревом. Пятнадцать тысяч за тридцать миллилитров, не благодари, милая.

– Машину вызвала?

– Да, – мельком бросает она, повязывает шарф, выбирает перчатки, кожа тончайшей выделки, кажется, Италия.

– Тебя ждать?

Застывает на пороге, уже не моя, уже чужая, и это больно ровно настолько же, насколько упоительно. Глядит через здоровое плечо, кривит хищную алость рта.

– Нет.

Дверь захлопывается с протяжным скрипом. Плотно щелкает замок. По лестнице неловко постукивают каблуки. Четвертый пролет, третий, второй, первый. Лязгает на выходе. И я остаюсь один. Плетусь в комнату, делать больше нечего. Включаю на телефоне первый попавшийся плейлист. Синтетические клавиши начинают отбивать ритм. Появляется голос. Возникает где-то рядом. Но далеко. Очень далеко.

I've got this funny feeling that I just can't shake.
The devil in the wires, the data eating up my brain.
There's a flood that's coming up to my bed.
Chaos wins and I can't get over it.¹

¹ Здесь и далее текст песни IAMX – «Stardust».

Мой хаос давно меня победил. И продолжает побеждать. Если не трепыхаться, то это даже приятно.

Наша комнатка хороша. Компактное логово. Низкий потолок в паутине трещинок. Если лежать на полу и смотреть вверх, не моргая, не отрывая глаз, то трещинки начинают кружиться, изламываться под новыми углами, складываться в затейливые знаки, иноземные письмена, сулящие казни египетские. Вот лежишь навзничь, вжимаешься затылком в колючий ворс ковра, гладишь его линиящую шкуру, эти красные завитушки, синие точки и желтые углы, дышишь пылью с примесью ароматного дымка, и ничего тебе не страшно. В этом, наверное, смысл дома. Когда не маетно, когда не суетно. За тонкой занавеской прячется кровать: громоздкая деревянная махина, такую двинешь – и развалится, но ты попробуй двинь. Упирается четырьмя резными лапищами, поскрипывает недовольно. Не люблю на ней спать. Она скрипит. Стоит вдохнуть поглубже, как в трухлявом нутре кровати зарождается звук и долго потом побряхтывает. Приходится вставать и идти к себе.

– Куда? – сонно возмущается Катюша, но отпускает.

Сплю я на низкой тахте. Примостил ее к боковой стенке шкафа так, чтобы сквозь сон можно было закинуть руку повыше и схватиться за резной угол. Ни для чего, просто так. Чтобы спокойнее было. И тахта сразу становится мягкой, и тяжелый плед не продавливает грудь, и подушка ложится ровно под шею так, чтобы ничего к утру не затекло. И я сплю, сжав шкаф за уголок, как ребенок – материнскую руку.

How do I even learn to play the human way?
Smiles without a heart, weird mechanical mistakes...
There's a flood that's coming up to my bed.
Love's out there but I'm indifferent.

Без шкафа все здесь было бы невнятно. Мелкая пыль, белесые обои, медленно отходящие от стен, серые занавески на грязных окнах. Но с ним! С ним комната наполняется смыслом. Все кругом приобретает антикварный лоск. И тахта, и скрипучая стерва-кровать, и ковер этот вытертый. Все становится красивым, даже мы с Катюшей.

А как не стать? Если он высится, подпирая резной короной потолок. Если он вьется дубовыми колоннами, поскрипывает дверцей с медной оковкой и той, что ее лишилась до нашей встречи и теперь сиротливо подвисает. В этой легкой неровности, в этом зазоре между дверцами я вижу приглашение. Распахнуть одним движением, услышать скрип, почувствовать, как пахнет коньяком, изумрудным бархатом и сандалом. Как пахнет матушкой. В хорошие дни я забываю, что шкаф – не настоящий, что я отыскал его в антикварном закутке, на расстоянии почуяв родство с затейливой резьбой полок и вешалок. Воссоздал по памяти детское убежище. Тайную пещеру, полную чудес. Полюбил каждый скол, шероховатость и дряхлость его деревянного нутра.

Шкаф смотрит на меня черными точками в старом зеркале. Это его глаза. Три больших, пять средних и россыпь маленьких. Иногда я подхожу вплотную, так, чтобы холодок от зеркального прикосновения пробрал до озноба, и легонько целую каждое пятнышко. Три больших, пять средних, россыпь маленьких. И тут же отскакиваю, пока горячие следы моего дыхания не успели исчезнуть. Через запотевшую муть отражение смотрит на меня, как через пятна тумана, и я в них зыбкий, я в них не я, а тот, кто живет по другую сторону. Тот, кто живет в старом зеркале шкафа. Тот, кому не нужно выходить из него. Тот, кому повезло. Но туман исчезает, а я остаюсь. Вокруг меня зарастает пылью комнатка. Без шкафа она стала бы совсем невнятной. А с ним – ничего. Хорошая даже. И я тоже ничего себе. Вполне хорош. Изумрудный мне к лицу.

Только платье сегодня выбрано не мной. Надето не на меня. Унесено по не моим маршрутам. Куда идет Катюша, когда хочет меня наказать? Кому вручает свое скособоченное тело? Над чьими шутками смеется, растягивая жадные губы, чуть морща искусной лепки нос? Нет, не так.

Она просто едет в центр. Просит остановить машину напротив разукрашенного неоновым бара, прямо у его дверей, окутанных дымом вышедших перекурить. Выбирается из машины. Я почти вижу, как цепляется за каблуки подол платья, как неуместно смотрится оно мерзлым вечером в центре, у неоновой бара и прокуренных дверей.

Stand up can you keep your head?
Love me like tomorrow we're dead.

На нее смотрят. Я точно знаю, что смотрят. Чуть заинтересованно в начале, но интерес быстро сменяется отвращением. Косой луч фонаря, отсвет вывески. Любой источник борьбы с полутьмой пойдет. Любой обнажит правду. Горб сжал Катюшу, перетянул ее невидимым жгутом.

Beauty, violence.
War is within us.
We'll be silenced.
Tomorrow we're gonna be stardust.

Курящие ускоряются. Дотягивают еще разок, выплевывают дым, спешат вовнутрь. А вдруг это заразно? Начало чертова зомби-апокалипсиса. Вышла из машины вполне себе приятная девушка, чем не повод развлечься этим тоскливым вечером? А обернулась коньком-горбунком.

No more ego.
Nothing to control us.
Painless freedom.
Tomorrow we're gonna be stardust.

Бедная моя. Бедная. Красота твоя налицо, а все, что дальше, – сплошное недо-. Недотело недоженщины. Острый укол нежности валит меня на пол. Я цепляюсь за лохматость ковра, за самую синь его округлой точки, и представляю. Вот отшатывается первый. Он стоит ближе всех к дороге. Тонкая подошва дорогих ботинок, укороченные брючки в мелкую клетку, рубашка навыпуск, уверенно мятая, но не портит, длинный пиджак нараспашку. Катюша рассматривает его снизу вверх, он стоит, терпит взгляд, ждет продолжения. Что его привлекает? Твое умелое пальтишко? Перчатки? Бархатный перелив у каблуков? То, как умеешь смотреть ты, еще чуть – и замироочит небесный лик?

Что ты чувствуешь, милая, когда рассеянный интерес сменяется оторопью? Когда тельце твое, слишком маленькое, неровно сжатое, перекрученное по главной оси, проступает через дорогую ткань? И ничего с этим не поделать. И ты заходишься кашлем и не можешь откашляться, потому что нет в твоей немощи сил. Что же ты чувствуешь тогда?

Обиду? Острый укол страха? Разочарования? Возбуждения?

Stand up can you keep your head?
Love me like tomorrow we're dead.

Я лежу на ковре и смотрю, как тянутся по потолку письмена трещин. Павлинская часто заставляла меня на полу, возвращаясь из бесконечных своих крестовых походов. Когда сидеть становилось неважно, слишком ломило спину, я выползал из шкафа и вытягивался у его ножек. Тонкая грань между сном и явью надламывалась, и я погружался в причудливые вполнохи. Кто-то ходил вокруг, шептался, скрипел и покашливал, а я продолжал смотреть в потолок, не моргая, чтобы глаза резало до горячих слез. Мужчины не плачут, Миша, не плачут, почему же ты плачешь, Миша, почему? Или ты не мужчина. Не мужчина? Скажи мне, ты не мужчина? Я не знаю, мама, я ничего не знаю. Я просто лежу на полу и жду, когда ты вернешься. Хмельная, пахнувшая усталостью и портвейном, немного шоколадом, сильно потом, политым сверху мускусной шершавостью духов. И ты приходишь, перешагиваешь через меня, оступаясь, но не падаешь, а просто шагаешь дальше, пикируешь на кровать и затихаешь. А я не плачу. Я же мужчина. Я просто перестаю моргать.

Tomorrow we're gonna be stardust.

...И просыпаюсь в мутном сумраке. Все зыбко. Ковер, на котором я валяюсь, как сброшенные носки, потолок с его трещинами, тюль на окнах, занавеска, разделяющая комнату на две части, я сам, лежащий поперек этой границы, – все потеряло строгие очертания, потонуло в слабом еще рассвете моего сознания. В первую секунду не разобрать, что я и где оказался, память пробивается слабыми толчками. Первыми узнаю свои руки, разглядываю их, ужасаюсь, надо же, какими странными бывают эти костлявые отростки, как их там, пальцы, да. Потом вижу растянутую майку, память зудит, где еще можно оказаться в вытертой до мельчайших дырок майке, дома, конечно. Значит, я, состоящий из корявых пальцев и потного тряпья, валяюсь на полу, весь затекший, исковерканный мучительным сном, а теперь нужно вставать, нужно что-то делать, куда-то себя девать.

– У тебя встреча в два, поднимайся, – бормочет Катюша.

И я вскакиваю. Я уже все помню. И по-прежнему не представляю, что с этим всем делать.

– Сколько времени?

– Первый час. – Я не вижу ее, но отчетливо слышу, как злорадно она хихикает.

Чертыхаюсь, подхватываю себя, несу в ванную, чтобы умыться, отрезвить, хоть как-то сублимировать. Тело сопротивляется, подрагивает, ноет там, где и ныть нечему. Переваливаюсь через бортик, скидываю трусы и майку, рву вентиль, льется кипяток, кричу, поворачиваю синий кран, тот хрипит, плюется ржавчиной.

– Холодной нет, – вкрадчиво делится Катюша. Заходит в ванную и приваливается к дверному косяку.

Спина пылает, а Катя смотрит и даже не пытается скрыть злорадного удовольствия. Осторожно вышагиваю из ванны на пол. Спасибо за поддержку, милая, за участие тоже спасибо. Видимо, на моем лице читается что-то совсем уж недоброе – Катюша хватается полотенце, распахивает его, как объятия, и я позволяю себя укрыть.

Стоим. С меня течет остывающий кипяток. Жжет ошпаренную кожу, Катюша вытирает воду, дует легонечко. Тихо, тихо, сейчас пройдет. Уже почти. Видишь, не больно почти. И правда почти не больно.

– Объявление висит внизу, ремонтные работы, – шепчет она мне в плечо.

– Не видел.

– А я забыла сказать, прости.

Обнимаю ее крепче. Под ноги натекло, Катюша перебирает промокшими носками, но не уходит, сопит примирительно.

– Как вечер прошел?

Пожимает плечами – одно выше, другое ниже, будто волну пустила, эдакий танец разочарования.

– Да никак. Приехала. Выпила. Уехала.

Неоновый бар меркнет, двери со скрипом закрываются. Бедная-бедная моя, ну ничего. Сдадим книгу, устроим пир на весь мир, все зланные места будут наши.

– А я уснул. Провалился прямо.

– Спина небось затекла.

Спину и правда ломит. И живот от голода поджимает. А времени-то нет, ни на что времени нет. Уж точно не на голые обнимашки посреди остывающей ванной.

– Вытирайся давай, а я чайник поставлю, – решает Катюша. Разрывает цепь рук, отходит в сторону. – А поешь на месте уже. – Молчит, смотрит оценивающе. – Пусть эта за тебя платит. Не свидание же. Встреча. Она позвала, пусть сама и платит.

Киваю, прячусь в мохеровом коконе полотенца. О мелочности Катюши можно писать стихи, о жадности – сочинять оды, про безмерного скрягу, живущего в ней, – издавать многотомники и снимать мыльные оперы. Мог бы, обязательно взялся бы. Жаль, не могу.

Чищу зубы, полощу рот горячим, долго плююсь. Выхожу на кухню, дышу тяжело, как паренный в бане. Жадно ищу холодную воду. Но последние крохи шумят в чайнике. Катюша сидит за столом, смотрит настороженно.

– Что ты ей скажешь?

Не знаю. Не знаю. Не знаю. Опускаюсь рядом, не даю отвернуться, не даю соскользнуть.

– Это ты мне скажи, что ей говорить.

Выдерживает взгляд, топит все мои потуги в наступление.

– Соври, – решает она. – Придумай что-нибудь. У тебя хорошо получается.

Вот и все. И делай с этим, Мишенька, что душе твоей измученной угодно. Отвожу глаза. Мне больше нечего ей сказать, не о чем просить, и нет ни единого довода, что сработал бы. Разговор окончен. Собирайся, езжай, ври, выворачивайся, спасай свою лживую задницу. Может, выторгуешь еще месяцок-другой.

Не глядя вытаскиваю с полки одежду. Джинсы, свитер, носки. Этим вещам не место в шкафу. Валяются где ни попадя. Выбираются так, чтобы мялись поменьше. Натягиваю. Смотрюсь в зеркало. Сойдет. Для очередной серой и никчемной зуевской мыши сойдет и так. Немного сонный, чуток опухший, небрежный настолько, чтобы девочка поплыла. Она будет в восторге. Начнет перебирать волосы, хихикать без умолку, может, уронит вилку. Будет слушать, не понимая половины слов. А я буду врать. У меня хорошо получается. Что-нибудь про творческий кризис, сложности расставления акцентов, про созвучность образов с аллюзиями на Достоевского, о глубинной мотивации второстепенных персонажей, способных затмить героя. Напущу туману, тень да на плетень. Я умею. Я смогу. Вот я уже спускаюсь с лестницы. Плечи жжет кипятком, спину ломит ночь на полу. Я полон сил, я преодолеваю, я мастер преодоления, адепт культа подавленных эмоций.

– Выбей нам время! – кричит Катюша. Выскакивает на площадку, переваливается поверх перил, смотрит на меня через пролет. – Я напишу. Я уже пишу. Только время нужно.

Смотрю на нее снизу вверх, как на архангела, что из кармана достал уже и вот-вот просыплет манну небесную. Внутри щелкает, и разливается тепло.

– Выбью.

Она улыбается. По-настоящему улыбается. Не скалится, нет. А ямки на щеках возвращают ее даже не в детство – в ангельство. Она улыбается и уходит домой. А я остаюсь на заплыванной лестнице. И я счастлив. Кто бы знал, как я счастлив.

Тим

Вечер Тим провел, уткнувшись в ноутбук.

– Совсем глаза посадишь, – ворчала бабушка и окрикивала маму: – Зина, он совсем глаза посадит! Скажи ему!

– Не сажай глаза, – послушно говорила мама, отрываясь от ритмичного шинкования капусты в суп.

Тим поводил плечом, отклоняя их замечания, как назойливый спам, и кликал на очередную ссылку. Гуглить Михаэля Шифмана оказалось увлекательным занятием. Вся информация о нем, собранная по социальным сетям, многочисленным отзывам и редким интервью, рисовала картину привлекательную, подозрительно гладкую, а потому неуловимо фальшивую.

Михаил точно был молод. Год рождения плавал от источника к источнику, но больше тридцати двух ему никто не накручивал. И точно хорош собой. Даже на фото с многочисленных презентаций, где вспышка кого угодно могла превратить в лежалога покойника, Михаил смотрел в объектив печальными глазами, крутил в пальцах ручку, тянул носок белоснежных кед – при этом из-под костюмных брюк становились видны разноцветные носки. Его не портил даже беспорядок на голове – эти собранные в хвост лохмы из раза в раз рисовали читательницы, приносили свои шедевры на встречи, вручали Михаэлю, и тот лениво фотографировался с ними, придерживая раскрасневшихся девочек за нежные локотки. Да, смотрелся он избыточно, чрезмерно, даже вычурно, но было в нем что-то еще, тревожное и тоскливое, и вот оно привлекало сильнее. Настолько, что Тим украдкой сохранил себе пару снимков и тут же закрыл вкладку. Но поздно – нюх на неловкости был в этом доме основным инстинктом.

– Это чего ты там прячешь? – завопила бабушка, бросая недоглаженную ночнушку. – Зина, чего он там прячет?

– Что ты там прячешь? – Мама как раз попробовала суп на соль и принялась ждать, пока он настоится.

Этого времени точно хватило бы, чтобы довести Тима до зубного скрежета.

– Ничего я не прячу, к работе готовлюсь, – бросил он, не оборачиваясь. Нырнул под стол, чтобы выдернуть зарядку, но его перехватила сестра.

Маленькая, словно гадючка, что прикидывается ужом, а на деле плюется ядом, как заправская кобра, Ленка рванула к ноутбуку, отпихнула Тима и вывела на экран сохраненное фото. Михаэль Шифман был запечатлен вполборота. Кажется, на летней ярмарке, как обычно начавшейся к июньским заморозкам. Пальто в серый рубчик, яркий шарф в грубом узле похож на удавку, брови драматично изломаны, одна рука на стопке книг, вторая держит микрофон.

– Актер, что ли? – недоверчиво спросила бабушка, вплотную прижимаясь носом к экрану. – Худющий какой. Зин, посмотри, какой худющий!

– Да. – Мама приоткрыла кастрюлю, повозила в ней ложкой, закрыла обратно. – Очень худенький мальчик. Вы дружите?

Вопрос зазвенел в душном пространстве кухни. Тим наконец выдернул зарядку и выбрался из-под стола, весь в пыли и серой шерсти покойного кота Степана. Кот умер от вредности еще зимой, сорвался с балкона, когда ловил синичек, что прилетали кормиться на бабушкиных хлебах, а шерсть его, которую он разбрасывал везде, где только мог, осталась. Степана любила только Ленка, одна по нему и плакала. И на шерсть эту смотреть не могла, сразу морщилась, затихала и начинала шмыгать носом. Вытащить пару клоков на свет божий – так себе способ нейтрализации, но сработало. Ленка подобрала шерсть с пола, сжала в кулаке и ехидный выпад на тему дружбы оставила при себе.

– Это по работе, мам. Автор мой. – Тим закрыл ноутбук и прижал его к груди. Тот тихонько зашумел, теплый и ворчливый, почти живой. – Буду его курировать.

– А написал-то чего? – оживилась бабушка. – Зин, спроси, чего написал-то?

Но Тим уже выскользнул из кухни, прокрался по коридору и плотно закрыл за собой дверь. Тишина. Плотная, успокоительная тишина. Комната всегда была тихой. Отделенная от остальных коридором, маленькая, а потому укромная, северная и оттого темная. Сидеть, при-

слонившись спиной к стене, щелкать по клавиатуре, редактировать и переводить, переводить и редактировать. Ни тебе кухонной суматохи, ни тебе раздражающего бормотания телевизора. Никого. Ничего. Тихо. Тим уселся поудобнее, откинул крышку ноута. Экран вспыхнул фотографией Шифмана.

Между бровями у того пролегла морщина. Глубокая, будто ее обладатель страдал от боли в висках. Таких глубоких морщин не бывает у тридцатилетних успешных писак, что без страха и сомнений строчат свои нетленки за внушительные авансы с единственным условием – не сорвать выход к очередной ярмарке, чтобы весь тираж за два дня, чтобы девочки с портретами, чтобы дядечки с вопросами за жизнь, чтобы сумасшедшие старухи интересовались, используете ли вы, Михаэль, абзацы. Нет, такие морщины бывают у других. Тех, кто знает, что ничего не знает. О мире, о себе, о книгах этих, о которые спотыкаются в редакции, потому что лежат они там, никому не нужные, ни для чего изданные, зачем-то написанные, а зачем, никто и не понял. Даже тот, кто написал.

В темноте спальни легко было думать так, повторять горькие размышления Данилевского, выдавать их за свои собственные. Тим почти слышал, как кряхтит под Григорием Михайловичем старое кресло, и сам старик, разбитый остеохондрозом, поскрипывает в такт и говорит, говорит без умолку, прячет за слабой усмешкой разочарование и усталость, что в нем покоятся. Тиму захотелось позвонить Данилевскому, спросить, как он там, увериться, что ничего, сойдет, дружочек, еще повоюем. Но времени набежало одиннадцать часов. Завтра. Позвонит завтра, прямо с утра и позвонит. Перед встречей с этим вот.

Курсор уперся Шифману между бровей, скользнул к скуле, вниз до подбородка, по шее к узлу шарфа, через плечо к руке, лежавшей на книгах. Семь допов вспыхнули в памяти Тима красным сигналом тревоги. Надо же! А люди ведь правда читают. Ну хорошо, пусть с третьего тиража подключилась реклама. Заказные интервью, съемки с блогерами, подарочные боксы и выкладки под носом у любого, кто взглянет на книжную витрину. Но вначале! Вначале же его начали читать просто так.

Кто-то увидел на твердой обложке приоткрытую створку шкафа, разглядел за ней женские платья, присмотрелся еще и понял, что сквозь ворох шмотья на него смотрит детское личико. Сильно. Не поспоришь. Грустный сенбернар Удилов, которому Шифман выпал на квартальной летучке, на удивление расстарался, нашел художника, грудью встал, макет утвердил. А дальше? Что такого открылось случайным читателям за удачной обложкой? Как работал механизм внезапной любви и веры?

Тим пытался стать одним из них, поверивших в слащавую историю мальчика, выросшего в мамином шкафу. Пытался проникнуться судьбой забитого доходяги, представить, каково это – сидеть в темноте, ожидая, когда мать вернется с гулянки, гадать, обнимет или ударит, накормит или заставит щеголять в своих бархатных нарядах. Общественность пылала гневом, из каждого чайника велись дебаты, Шифман смущенно отнекивался, скрывался за художественным вымыслом, держал интригу, прятал настоящее имя, а когда его раскрыли, развел руками, но от комментариев воздержался.

Одной-единственной книгой вышло всколыхнуть сонный литературный мирок. Печальный автор рассуждал о насилии в семье, играл в лицо фонда помощи пострадавшим от всяческой травли и, пока интерес не угас, хорошенько погрелся на острой теме. Но и в тени продолжал появляться в топах, упоминаться в списках и мелькать в обзорах пугающей величины.

Только Тим ему не верил. Между строчек виднелись уши тотальной лжи. Все эти пугающие подробности, странные обороты, излишества и детали. Вот теперь-то Тим вспомнил, как Данилевский зачитывал клоунским голосом отрывки из книги Шифмана, подчеркивал несуразности красным карандашом.

– Это все написано на потеху. Посмотри, одна манипуляция, – повторял он. – Агония художественного смысла. Пляска на выдуманных костях. А псевдоним! Нет, ты видел псевдоним?

Тим видел. И оттого бесился еще сильнее.

– Как его на самом деле? – не унимался Данилевский.

– Тетерин.

– Вот! – Скрыченный старостью палец тянулся к потолку. – Хорошая русская фамилия. А это что? Шифман. Мальчик-англичанин? Мальчик-еврей?

Тим пожимал плечами.

– Вроде бы нет.

– Вот пусть и не примеряет на себя чужую шкуру. Не по нему сшита!

И вот теперь, когда шумиха вокруг Шифмана окончательно улеглась, Зуев скинул его, как мертвый груз. Возьми, разберись, замотивируй. Изгваздайся в дешевой графомании до ушей, чтобы никогда потом не отмыться.

Тим свернул фотографию, отправил ее в корзину и захлопнул ноутбук. Легче не стало. В коридоре заголосила Ленка, есть на ночь суп она не хотела, а йогурты закончились еще позавчера. Чтобы не слышать пререканий, Тим заткнул наушники поглубже, щелкнул в плейлисте телефона на кнопку свободного выбора и закрыл глаза.

Stand up can you keep your head?
Love me like tomorrow we're dead.

Сквозь электронные риффы пробивался голос. Он заполнял все пустоты. Вгрызался в подкорку. Просил любить так, будто завтра никогда не настанет. Вот только в темноте под закрытыми веками Тим продолжал рассматривать тревожную морщину между бровями и волосы, собранные в растрепанный хвост. Рассматривать и запоминать. Рассматривать, засыпая. Спать, продолжая видеть, как нервно лежат костлявые пальцы Шифмана на стопке его никчемных книг.

No more ego.
Nothing to control us.
Painless freedom.
Tomorrow we're gonna be stardust.

3. Никчемыш

Я

Что я там ненавижу? Телефоны, да. Телефоны и метро. Метро – это филиал ада. Человечество заслужило его в момент, когда, расселяясь по континентам, пересекло большую воду там, где задумано не было. Когда уничтожило остальные виды, подобные себе и не подобные, когда придумало религию и капитализм. В этот момент, когда человечество окончательно потеряло всякое право на существование, карой небесной ему было даровано метро. И поделом.

Пот. Все вокруг пахнет потом. Кислым, протухшим в недрах мясистых подмышек. Толкотня. Понять сразу, чей это локоть упирается тебе под третье ребро, невозможно, идентифицировать, кто дышит, а кто выпускает газы, нет ни единого шанса. Просто стоишь в углу, утрамбованный в нишу, прислоняешься там, где прислоняться запрещено, дышишь ртом поверхностно и редко, молишь богов – только бы не пропахнуть, только бы не намочнуть, только бы не стать таким же.

Отвратная тетка с хлопьями перхоти в пересушенных химией волосах смотрит с презрением. Слабо улыбаешься ей на каком-то мудацком рефлексе – она тут же отводит глаза. Вагон со скрежетом останавливается. Людская масса дергается, идет волнами и вываливается на перрон. Я среди них.

Тетка остается внутри. Мы никогда больше не встретимся. Но чешуйки ее кожи, повисшие у темных корней, остаются со мной. Надо бы рассказать Катюше, может, напишет их. Придаст эпизоду жизни за счет ярко окрашенных деталей. Настолько ярко, что меня подташнивает, пока эскалатор тащится вверх, прочь из кольцевого ада, будто бы я искупил грехи. Думать об этом приятно. Но верится с трудом. Выдуманный человечеством бог равнодушен к мерзким грешникам. К нам, погрязшим в разврате и порнороликах в режиме инкогнито. Не будет искупления по мелочам. Все его великодушие отдано серийным маньякам и золотоносным сыновьям, сбившим по кайфу пешехода на зебре под красный свет.

Сам выбираюсь наружу, оглушающе визжит проспект, невыносимо клокочет жизнь, все идут, бегут, несутся, пихаются и подрезают, сигналият и вопят. Курят на ходу эти свои дебилы-недосигареты, потому что сигареты – уже не модно, детка, ты чего? К телефонам и метро добавляются люди. Вообще все люди. Эти хреновы приматы, возомнившие о себе не пойми чего. Эти дебилы-прямоходящие. Эти чертовы гуманоиды.

– Михаил?

Парень выскакивает прямо передо мной, будто все это время прятался под асфальтом, поджидал, когда это я появлюсь, заторможу у гранитного бока подземного перехода, задумаюсь о своем, о вечном. Раз! И уже стоит напротив. Дутая курточка, вязаный ворот свитера. Крошечные розоватые мочки ушей. И мне вдруг отчаянно хочется потрогать их, кажется, что холодные, но я откуда-то знаю, что теплые. Мягкие, но с твердыми горошинками в этой мягкости. Не проколотые. Я не могу отвернуться. Я не вижу цвета волос, не замечаю глаз, совершенно не слышу, что говорит мне этот блеклый мальчик. Я смотрю на мочки.

– Меня зовут Тимур Мельзин. – Голос пробивается ко мне с другой стороны мира, где эти мочки – просто часть его тела. – Мы разговаривали вчера. Помните? Я ваш редактор. – Тянет руку, я ее пожимаю.

Вот тебе и баба. Редакторка с мягкой грудью. Разлучница проклятая. Просто голос в трубке, съеденный помехами, а сколько страданий бедной моей Катюше. Надо бы удивиться. Должна была прийти девочка, а пришел мальчик. Надо бы ехидно одернуть, мол, по телефону вы куда женственней, чем на самом деле. На место поставить или растечься тысячью елеев, чтобы разом опрокинуть весь этот канцелярский заслон. Но слов нет. Я смотрю на левую мочку. Я думаю: а какая она на вкус? Соленая? Наверное, да. Мальчик определенно спешил,

свитер плотный, ему должно быть жарко. Тогда левая мочка соленая. А правая? Да, правая тоже должна быть соленой, но мне кажется, что вот она-то как раз сладкая.

– Где вам удобно будет поговорить?

Отвечаю ему что-то на тупом автомате. И мы начинаем идти. Теперь я вижу его профиль. Острый угол челюсти, невнятные губы, крупноватый нос, короткая стрижка. Все ерунда, кроме нежного фарфора правой мочки. Кажется, я облизываю губы. Под моим плотоядным взглядом мальчик ежится, поднимает воротник куртки. Силой перевожу взгляд под ноги.

Под ногами влажная плитка в обрывках рекламных листовок – все эти продам волосы, куплю квартиру, сниму порчу, вылечу целлюлит. Начинает накрапывать мерзкий дождь. Зонта нет. А жаль, может, галантно раскрытый зонт исправил бы положение. Пока надзиратель скорее боится меня, чем восхищен, обескуражен и пробит насквозь моим обаянием. С мужчинами у меня всегда хуже, чем с маленькими серыми редакторшами. Но делать нечего, ищу слова. Нахожу их жалкие огрызки.

– Осень ранняя выдалась.

Миша, типа писатель, двадцать семь лет, молодец, садись, двойка. Он, как его там, Тимур? Да, кажется, Тимур, косится на меня настороженно, но слабую подачу отбивает.

– Говорят, теплее уже не будет.

Хватаюсь за ниточку, тяну на себя легонько, чтобы не порвать.

– В прошлом году до октября бабье лето было. – Добавляю в голос немного иронии. – Помните?

Ну же, давай, поддержи мой неловкий треп.

– Жара была под тридцать! – поддерживает он и расслабляется, вынимает голову из плеч, распрямляет спину.

– Да! – Главное, не переборщить с ликованием, не победу наших над Испанией обсуждаем, а гребаную жару в сентябре.

Улыбается. Ключул. Осторожно выдыхаю, но на него не смотрю. Если из-под шарфа мелькнет розовой мякотью, меня понесет. Чертов фетишист, держи себя в руках. Мы как раз дошли до глазастого дома, весь – стекло и дерево, услада местным хипстерам, радость души окрестных инста²-девочек. Дальше начинался милейший садик, но туда под дождем не пойдешь, а жаль, лучше идти и говорить, чем говорить и сидеть. За столом вечно некуда деть руки, сложно отвести глаза, тяжело выдержать паузу.

– Коль жары не обещают, лучше нам спрятаться, – решаю я и взлетаю по крутой сетчатой лестнице, смотрю сверху вниз, подрагиваю уголками губ, но смотрю пристально. – Выпьем чаю? Здесь отличный. С кумкватом.

Он сбивается с шага, пожимает плечами. Точно клюет. Сжимаю кулаки, чтобы не дрогнуть, не сорваться в последний момент. Открываю дверь и веду нас на третий этаж. Жду, пока он сдаст курточку услужливой хостес.

– На двоих у окна, пожалуйста.

Вид хорош. Даже утонувший в серой холодной взвеси, садик мил и приятен глазу. Самое то, чтобы сидеть повыше, пить кисловатый чай, расслабляться, пропускать подачи и вестись на пустую болтовню.

– Значит, вы редактор?

– Да.

– Самый профессиональный редактор?

Слабый смешок.

– Нет, ну правда, мне обещали самого профессионального. Константин же не мог соврать, правильно? Значит, вы самый профессиональный редактор. Поздравляю.

² Организация, деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации.

Нам как раз принесли чайник. В прозрачном чреве его плещется оранжевое варево, темные веточки и алые фруктики в мягкой кожуре. Разливаю по чашкам. На вдохе пар отдает мандарином и куркумой. На выдохе он терпкий, как сжатый в пальцах розмарин. У матушки были духи с розмарином. Плоский прозрачный флакон, холодная крышечка на магните. Не потеряй, Миша, поиграйся, но не теряй, слышишь, как пахнет, о, мой мальчик, тяжелое и древесное, говорят, это мужской запах, какие глупости, Миша, в мире все делится строго по половой принадлежности, но запахи – они выше этого. Тимур смотрит вопросительно, и мне приходится вернуться, прости, мам, в следующий раз договорим.

– Простите, задышался, пахнет замечательно, правда?

Он проводит ладонью перед носом, будто над мензуркой на уроке химии. Нелепость, возведенная в квадрат, ничего не слышит, конечно, но улыбается, я тоже, мол, верю тебе, верю, мы друг друга поняли, мы на одной волне. Вообще-то нет, но тебе об этом знать не положено.

– Я работаю только с переводными авторами, понимаете? – говорит он. – Сам перевожу, сам готовлю к печати. А теперь вот вы.

И замолкает, будто только сейчас понял, что я и правда ему достался. Списанная торба, мать ее. Чемодан без ручки. И без рукописи. Но это еще один пункт вне его компетенции.

– А теперь вот я, – легко соглашаюсь, делаю глоток.

Терпко, горячо, сладко. То, что нужно. Хорошо. Пока все хорошо. И остается хорошо, пока мы молчим, прихлебываем, смотрим через стекло на серую хмарь сада. А потом Тимур отставляет чашку в сторону. И я тут же понимаю, что просто с ним не будет. Черт.

– Константин Дмитриевич хочет, чтобы я приступил к редакции, пока вы еще работаете над финалом, – говорит он, аккуратно промокая салфеткой сухие губы. – Так будет эффективнее. И быстрее.

Было бы это все в красивом фильме, я сжал бы чашку так сильно, что та разлетелась бы россыпью стекла и кумкватовых осметков. По запястью потекла бы кровь. И больше ни о какой рукописи никто бы не вспоминал. Может, мальчонка лично отвез бы меня в травмпункт, а завтра позвонил бы справиться о моих новоявленных швах. Мерзко, но пережить реально. А вот строгий учительский взгляд, ретивость охотничьего сеттера и готовность приступить к редакции текста, который Катюшенька моя еще не написала, – это дело такое. Не-вы-но-сиемое.

Кривлюсь, будто бы мне не чай с медом подали, а хурму незрелую. Отставляю чашку. Страдальчески посылаю долгий взгляд в хмурые небеса. Тимур ждет. Я молчу. Мимо проносится официант. Наклоняется к столику.

– У вас все хорошо? Все нравится?

Взмах руки, слабый кивок. Все отлично, все в порядке, не стоит волнений, вы ни при чем. Я такой из себя хрупкий, оскорбленный и раненый. Но чай замечательный. Вот чай отличный, да.

– Я не отдам вам свой текст, пока он не будет готов, – чеканю, не отрывая взгляда от промокшего сада. Внизу по аллейке идет женщина в сиреновом дождевике. Ловлю себя на мысли, что многое отдал бы, чтобы поменяться с ней местами хоть на часок. – Об этом не может быть и речи.

Выжидаю паузу. Перевожу взгляд на притихшего Тимура. Добавляю льда. Прожигаю дыры в его бледном лице, не гляжу на фарфор мочек, хоть он и проглядывает. Мальчик должен уже зубом на зуб не попадать, обморозиться до смерти от моего молчания, вспыхнуть ледяным пламенем моего ответа. Но он сидит и медленно моргает, туповато приоткрыв рот. Если это «умненький человек», как обещал Зуев, то каши мы с ним не сварим. Даже если Катюша напишет-таки для нас топор.

– Но Константин Дмитриевич... – бормочет он, запинаясь.

Я ликую. Я почти уже готов расцеловать его в обе гладкие щеки, то ли выбритые до скрипа, то ли не способные на щетину. Мальчик кашляет, делает глоток, чашка коротко стучит о блюдце. На секунду мне кажется, что я пережал. Легкая виноватость проскальзывает во взгляде. И Тимур за нее хватается.

– Константин Дмитриевич сказал, что я должен редактировать. И я буду редактировать. Это моя работа.

Вот же гад.

– Редактируйте что хотите, – развожу я руками так широко, что вспоминаю утро, кипятков и махровые объятия Катюши. – Только свой текст я не дам.

Мышиные бусинки его глаз становятся идеальными окружностями.

– То есть как?..

– А вот так. – Отказывать ему неожиданно приятно. – Текст сырой, не готовый. – Внутри становится тепло и влажно, даже щекочет что-то, похожее на уверенность в правоте. – Я что, обязан отдавать вам недоношенного младенца, чтобы вы завтра же поставили его в смену на завод? В план ваш чертов? Да?

Праведный гнев пылает во мне, я уже и сам верю, что оскорблен, уязвлен, но не сломлен. Тимур медленно отодвигает от себя чашку, тягуче подтаскивает к себе салфетку, комкает ее в пальцах. Я прямо слышу, как скрипят шестеренки, как судорожно он соображает, что ответить, как вести себя со мной – заносчивым говнюком. Салфетка летит в сторону, приземляется на край стола.

– Я вас понял, я передам Константину Дмитриевичу.

Киваю. Пока он передаст Зуеву, пока тот надумает, что сказать мне, пока я побегу от звонков. Неделя точно наша. За неделю я выбью из Катюши синопсис и пару кусков. Ничего, выкрутимся. И в этот раз выкрутимся. Обязательно. Где наша не пропадала, да, Катюш? Где наша не пропадала.

– Только нужен синопсис. – Этот никчемый, названный редактором, прямо мысли мои читает. – Если будет синопсис, то я смогу... Смогу защитить вашу позицию. Понимаете? Вас не станут подгонять. Мне кажется, что вы правы... Это же текст, это же... – Смущается, но заканчивает: – Это творчество. Нельзя с ним так. Хорошо, что вы стоите на своем. Но мне нужен синопсис. Тогда я помогу.

Он уже не указывает, не соглашается – он просит. Он на моей стороне. От удивления я теряю хватку. Смотрю на никчемыша во все глаза, и он из никчемыша вдруг превращается в отважного борца. Воина моей невидимой армии.

– Договорились?

Киваю. Язык онемел, и я молчу. Но киваю. Он улыбается. Всккивает, тянет мне визитку, бормочет что-то об электронном адресе, куда нужно выслать хоть что-нибудь, и вот тогда, тогда-то он меня защитит, мне дадут еще времени, я смогу дописать, выносить и разродиться, если можно вот так сказать, а потом мы вместе все отредактируем, и будет хорошо. И план их чертов выполнится. И наступит вечное лето.

Он уходит, застегивая на ходу куртку. А я остаюсь на месте, допиваю чай, прошу счет, расплачиваюсь, оставляю сотню сверху. Кажется, я спасен. Кажется, почти победил. Выгрыз у смерти поблажку. Но привкус остался поганый. До метро я шагаю, высоко задрав воротник, мелкие капли стекают вниз по шее. Врученная Тимуром визитка колет в кармане. Мышиные глаза, вспыхнувшие внезапной верой в мою авторскую любовь к будущей книге, колются еще сильнее, и стереть их из памяти не выходит до самого дома.

А дома случается немыслимое. Катюши нет. Я понимаю это, стоит только подняться на четвертый. Площадка вымерла. Тишайшая тишь расстилается под ногами. Три квартиры слепо моргают глазками, одна – наша – равнодушно пялится черным провалом дыры. Так смотрят куклы-голыши, когда подросток отпрыск, хозяин и друг вырастает, перешагивает за одну ночь

время ангельской своей безгрешности и в первый раз чувствует щекочущее под ложечкой желание. Пакоstitь. Изуверствовать. Ковырять столовым ножом блестящие глазки вчерашнего товарища, слушать, как жалобно клокочет в нем при наклоне протяжное «у-ааа, уа, у-аааа».

Я помню себя таким. Мне шесть. Я сижу на полу, вытянув вперед тонкие ноги в коричневых колготонах. Колготоны мне не нравятся, совершенно, категорически не нравятся. Растянутые, с колючим швом на правом мыске. Я даже смотреть на них не могу. Подтягиваю колени к себе, усаживаюсь так, чтобы не видеть это убожество, в которое меня нарядила с утра Павлинская. И ушла. Растворилась в хмельном облаке вчерашнего коньяка и приторных духов.

Мне скучно, и я устал. Я сижу так весь день, совершенно один, только лупоглазый бегемот в оранжевой футболке, подаренный еще зимой приходящим хахалем, смотрит на меня с сочувствием. Макароны в кастрюле, оставленной на плите, слиплись и стали похожи на чудище морское. Матушка обещалась к пяти. Я слежу за временем. В пять на улице все еще светло. В шесть начинает темнеть. В семь наступает вечер. Надо бы встать, включить свет и съесть-таки морское чудище, но я продолжаю сидеть.

С края тумбочки, к которой я привалился в начале седьмого, свешиваются блестящие кругляшки ножниц. Я смотрю на них. Они блестят. Я смотрю еще. Они подмигивают мне и сами ложатся в руку. Я правда не виноват, я не брал их, я не брал, мама, больно, я не брал, не надо, не брал.

Я держу их на вытянутой руке, в другой сжимаю бегемота. Его принес усатый толстяк, добродушный настолько, что сумел задержаться с Павлинской на неделю-другую и даже вызнать о моем существовании. И принес бегемота. Станный дядька, здоровья ему большого. Да ума не связываться с такими, как матушка моя.

Бегемот лупоглаз. Я уже говорил, да? Черт. Но он правда был лупоглазым. Две крупные бусины, крепко пришитые к серой морде. Я поддеваю одну ножницами, распахиываю их маленькую, чуть ржавую к перекрестью гильотину. Я устал, я измотан и обманут. Вечер, матушка где-то прожигает последние деньги с аванса, который так и не отработает. Это у нас в крови. Но мне шесть, я ничего не знаю. А знаю лишь, что мне хочется отрезать бусинку глаза у бегемота. А знаю лишь, что могу это сделать. Легко. Раз. И бегемот останется одноглазым. Два. И он навеки лишится своих чертовых бусинок. А еще я могу пропороть ему брюхо. Вырвать шматок искусственного меха, распотрошить синтепон. Изрезать его на маленькие лоскуты. Так легко. Так упоительно и щекотно. Бегемот тяжелеет от страха, он не пытается сбежать, не молит о милосердии. Он смотрит на меня – оранжевая футболка, толстое пузо, могучие ноздри, два совершенно рабочих глаза. Полная беспомощность. Его. Полное всевластие. Мое.

Бегемот летит в стенку, отскакивает от нее и валится на пол. Лупоглазо пялится в потолок. Я начинаю рыдать еще до того, как дверь открывается, матушка впархивает в квартиру, видит меня с запретными ножницами наперевес, и несется, и кричит, и размахивается, волоча за собой хмельное облако сегодняшнего коньяка и выдохшихся духов.

Я выскальзываю из памяти, едва замочив в ней ноги. На щеке саднит давно отгремевшая оплеуха. Нет, мама, я не брал, не надо, я не виноват, мамочка, не надо, нет. Да. Надо. Брал. Виноват. Не мамкай мне тут. Так его, так, паршивца, будет знать, как хвататься за острое. Будет знать. И я знаю, видит холодное небушко, точно знаю, что могу все что угодно – врать, красть, мерить женское. Только не ножницы. Только не холодным в мягкое. Только не это, мам, только не так, я не буду больше, не буду, обещаю. Прости. Прости. Я все понял. Я буду знать.

Как знаю сейчас, что Катюши нет дома. Возжусь в холодном замке, прорываюсь через порог в пустоту и безмолвие. Хочется окликнуть ее. Имя почти срывается, но застревает, и я вязну в нем, произнесенном. Боюсь закрыть за собой. Вдруг Катя невидимой осталась на пороге, а я возьму и придавлю ненароком.

Катюша почти всегда здесь. Пока я там, где-то, что-то, с кем-то по важному поводу. Она здесь. Топчется в крохотной кухоньке, соединенной с единственной комнатой крошащейся

аркой. Переставляет чашки в серванте, гладит лысое чучело, бывшее некогда белкой, а ставшее чупакаброй. Копаются в бумажках, собранных на столе высоченными стопками, печатает себе тихонечко на дряхлом компьютере – развалине с выбитыми пикселями на крошечном экране.

Давай купим новый. Зачем? Ну как зачем – чтобы был. Ты же глаза убьешь, смотри, как он мигает. А жужжит! А греется! Однажды эта тварь загорится, слышишь? Слышу, отстань. Возьми мой ноут, а? С ним удобнее. Не возьму. Боже ты мой, ну почему? Нет, скажи, почему? Потому что на моем пишется. А на твоём нет.

И опять утыкается носом, только строчки бегут, опережая мигающий курсор, только пальчики жмут дребезжащие клавиши на кособокой клавиатуре – одна ножка отпала и затерялась, вторая чиркает по столу.

Ручка двери ледяная. Осторожно тяну на себя, поворачиваю замок, накидываю цепочку. Разуваюсь медленно и основательно. Шнурочки, задничек, носок протереть губкой. Молодец. Теперь пальто на вешалку, шарф рядом. Умничка. Можно идти.

На кухне ворчит холодильник. Ладонью успокаиваю его, мол, крепись, старина, еще поморозим. Проскальзываю в арку. Я ничего, я живу тут вообще-то, так что ходить могу, не оглядываясь. Оглядываюсь. Шкаф смотрит на меня через зеркальные глазки. Сейчас они такие же мертвые, как дверные. Словно уходя, Катюша забрала с собой всю жизнь. Изничтожила, высосала, сложила в сумочку то, что осталось, и унесла. Киваю себе зеркальному – тот медлит, но кивает в ответ. Хорош, конечно, краше в гроб кладут... Смахиваю его и опускаюсь на край стула. Катюшин стул у Катюшиного стола, а на столе Катюшин компьютер. Утка, как говорится, в яйце. Вдавливаю кнопку включения.

Дряхлый монстр раздражается воем, шумит так, что я затыкаю уши. Сейчас она зайдет, сейчас зайдет. Где бы ни была, куда бы ни укувыляла. Этот гул слышен повсюду. В тайге птицы с криком сорвались в небо. С Альп сошла лавина. Поднялось цунами у берегов Японии. Покачнулись башни Мордора. Вспыхнуло око Сауриново. Пошла рябью Темная сторона. Поперхнулся камрой господин Начальник. И даже в Неверлэнде у феечек пыльца пообсыпалась.

Экран лениво вспыхивает приветственным окном. Дергается рабочий стол, весь – небо, безликое и бесхребетное. Ни пароля тебе. Ни землетрясения. Катя-Катя, как же ты так неосторожно? Дурочка моя.

Руки почти не дрожат, пока я методично открываю папку за папкой. Если есть на свете черновики новой книги, то они здесь, среди обрывочных документов, странных картинок и файлов с неисправными расширениями. Если синопсис написан, то он спрятан здесь, в папке «Рабочая», между первой редактурой «Шкафа», продающимся текстом и шаблоном рассылки по издательствам.

Я ищу. Я открываю и закрываю, листаю, считываю, загружаю и возвращаю на место. Системный блок рычит и греется, я легонько пинаю его, когда он зависает, оборвав мерное жужжание на половине такта.

Я ищу. Я возвращаюсь в черновики, я выискиваю новые слова между старыми. Я тяну ниточки, я пугаюсь, разглядывая на сохраненных снимках перекрученные шибари тел неизвестных полов. Потом. Потом подивлюсь, понасмешничаю в уголке. Потом подумаю, смешно ли мне, завидно, страшно, что Катюша не стесняется смотреть. А я и глянуть боюсь. Отбрасываю фотографии, исключаю из поиска видеоролики. Только тексты. Их много. Огрызки вышедшего романа. Задумки, не попавшие в него. Диалоги, сцены, карточки.

Гоню из памяти, как мы лежим на скрипучем чудовище, прозванном по ошибке кроватью, вокруг – распечатанные листы. Я ходил под дождем в ближайший закуток с принтером, ждал, пока смуглая тетка в замызганном свитерке отпечатает двадцать новых страниц, и брал их, еще теплые, из ее рук, не замечая обглоданных до мяса ногтей. Прижимал к груди живое наше, чудесное, написанное уже почти совсем, нес домой. И вот мы лежим, читаем вслух –

нет, здесь повтор, это не повтор, это уточнение, нет, повтор, хорошо, повтор, но оправданный, не спорь, пожалуйста, читай.

Я и думать не мог, что когда-нибудь буду так счастлив, как был на той кровати, обложенный теплой еще бумагой, слушая, как читает Катюша, и отбирая листы, чтобы читать самому, целуя ее, чтобы чувствовать на губах слова, которые мы придумали, мы записали и вот теперь проговариваем по написанному, овеществляя и делая вечными. Текст, нас, меня. Шкаф, из которого я выходил, стоило Кате вжать кнопку включения, запустить текстовый файл и глянуть на меня с ожиданием, ну, что там дальше было, говори, надо добить главу.

Куда ушло оно? Дрожащее внутри ощущение счастья? Поток – в него мы впадали одновременно и так мучительно прекрасно, что никакой оргазм и рядом не стоял. Оргазм, который обрушивался на нас в той же пугающей одновременности, стоило мне войти в нее, в мою Катюшу, прямо на теплых еще листах.

Куда ушло оно? Ведь ушло. Папка «Рабочая» не обновлялась последний год. Я смотрю на дату, не в силах осознать. Ничего нет. Нового не написано. Катя – неряха. Она не моет плиту, пока жир не начнет гореть от включенной конфорки. Катюша забывает чашки, и плесень вырастает на дне, пушистая и радужная, словно ядерный грибочек. Она не выносит мусор, не моет унитаз, не подметает полы. Но лучше сдохнет, чем перепутает файлы, сохранит главу в неверной папке, забудет назвать ее с точным указанием даты.

Нового нет. Есть старое. Много старого. Наше старое. Изданное, оплаченное и потраченное. Нового нет. И не было. Катюша его не писала.

Закрываю папки, выключаю компьютер. Тот вздыхает еще разок и тихнет. Ноги не слушаются, но я встаю, шагаю в коридор, поднимая цепочку. Возвращаться сложнее. Хватаюсь за стены, расплетаю обмякшее, тащу омертвевшее. Тахта встречает меня знакомой твердостью. Надежный друг. Подтягиваю колени к груди, закрываю глаза.

Тихо-тихо, показалось. Тихо.

До скрежета хочется забраться в шкаф. Продышаться в нем. Раствориться в запахах и темноте. Но Катюша скоро вернется. Уходит она редко, но всегда возвращается. Вот вернется, увидит меня в шкафу и все поймет. Нельзя. Нельзя. Нужно подумать. Вслепую тянусь, обхватываю резной угол, сжимаю в ладони так сильно, как могу.

Тихо. Тихо. Засыпай. Засыпаю, дружок, засыпаю. Надо поспать. Тихо. Ничего. Поспишь. Пройдет. Все пройдет. Спи.

Мне снится бегемот. Громадный бегемот. Бегемот в полнеба. У него могучие лапы, глубокие ноздри. Футболка на нем горит оранжевым пламенем. Он слепо тычется лбом, пошатывается, бьет закрученным хвостиком. Он когда-то был лупоглазым, я точно знаю. Но бусины отрезал один непослушный мальчик. Теперь бегемот ходит по миру, ищет его и обязательно найдет. Найдет и поднимет на острый клык, раскусит пополам, выплюнет и растопчет. Как же он ищет мальчика, мамочка, если у бегемота нет глазок? По запаху, Мишенька.

Ты знаешь, чем пахнет непослушный мальчик? Непослушный мальчик пахнет мочой и страхом, пахнет материнской пощечиной, ржавыми ножницами и макаронным чудищем. Пахнет чужим компьютером. Пахнет обещанным синопсисом, которого нет. Слышишь, Миша, непослушный мальчик пахнет тобой.

Тим

Тим резал лимон тонкими кругляшками. Чем тоньше – тем больше сока, чем больше сока – тем больше вкуса. Сыпал на них крупинки сахара, укладывал на фарфоровую тарелочку в легкий нахлест. Чай почти настоялся, стал крепким, вязущим. Нежно скрученные листочки дарджилинга распрямились в горячей воде.

– Главное, не лить кипятком, дружок, – учил Данилевский в далекие времена, а у Тима подрагивали руки, и чайничек в них позвякивал.

Заваривать чай он научился на «отлично». Хотя в зачетке прописывай. Проливом, в чайнике и френч-прессе, в кружке и специальной колбе. Крепкий черный, легкий, как перышко, белый, горькая сенча и жасминовая нотка улуна. Тим вообще легко учился. Выискивать огрехи синтаксиса в чужих рукописях. Стоять в чайной лавке, вдыхать сухую терпкость, различать шоколадные нотки и травяные веточки. Сочинять редакционные записки, презентации и макеты к защите. Покупать элитный чай по чуть-чуть, на пробу, на пару раз. Слишком уж дорого, быстро спивается, перестает радовать. Каждое открытие праздновали как новый год. Смаковали мелкими глотками, перекачивали по языку. Данилевский жмурился, затихал, набрав в рот янтарь пряного ассама.

– Сразу видно, что второй сбор, – одобрительно кивал Григорий Михайлович, наливая еще половину чашечки, и замирал с ней в недрах кресла, грея руки о полупрозрачные края. – Чувствуешь мед? Чистейший мед!

Тим кивал, чтобы порадовать старика, и лучше бы умер от туберкулеза, чем признался, что к чаю равнодушен. Все эти сборы, ферментации и скручивания, попадая в кипяток, становились точно таким же чаем, как и купленное в переходе ассорти из пакетиков. Горький, вязущий, замудренный чай до сих пор казался ему невкусным. Если уж пить, то с сахаром, закусывая бутербродом. Но Данилевский таял от тепла их долгих чаепитий, оживал, разводил беседы и становился настолько родным, что Тим боялся смотреть на него – вдруг расплачется? Поднимался, уходил на кухню, резал тонкие кружляшки лимона, кипятил воду и давал ей чуть остыть.

– Ну и как твой подопечный?

Данилевский прошаркал к столу, опустился на табурет и перевел дух. Выглядел старик слабым. Тим рванул к нему с проспекта Мира, оборвав встречу, пробежал все эскалаторы, не присел в вагоне и запыхался, шагая по аллее, подгоняемый тревогой. От нее подташнивало. Тим поднялся на шестой этаж, вдавил кнопку звонка и, пока Данилевский шел открывать, медленно и шумно, успел от души выругать себя – старик же предлагал ключи, столько раз предлагал, надо было брать. Бледный в тревожную серость, Григорий Михайлович долго копался с замком. В полутьме прихожей они коротко пожали друг другу руки, Тим разулся, скинул куртку и сразу пошел заваривать чай, чтобы оттянуть неприятный разговор.

– Подопечный? – рассеянно переспросил он, прикидывая, как бы подвести беседу к врачу и не прописанным толком таблеткам, которые все равно купил в аптеке у метро.

– Ну да, этот, как его?.. Тетерин.

Фамилия пролетела мимо ушей, не отзывавшись. Лимон дал сахарный сок, чайники медленно дрейфовали, готовые поделиться горчащей сутью, даже чашки, и те, подогретые в теплой воде, выжидающе замерли на медном подносе.

– Готово. – Тим осторожно развернулся, чайники закружились в легкой спирали. – Пойдемте?

– А может, здесь попьем?

Данилевский смотрел жалобно, как нашкодивший. Худые ноги в домашних флисовых брюках он безжизненно вытянул, а сам уперся локтями о стол и сторбился, даже голову опустил. Нежная кожа затылка проглядывала сквозь седую пелерину волос. У Тима перехватило горло. Они никогда не пили чай на кухне. Кухня – место приготовления пищи, место ее принятия – в гостиной. Данилевский учил этому с легким удивлением, будто азбуке. Непреложные правила его жизни. Поднос опустился на кухонный столик с легким шлепком. Чай вышел из фарфоровых берегов, Тим промокнул его салфеткой, присел на краешек табурета, приподнял и поставил перед Данилевским чашку, придвинул поближе блюдо с лимоном.

Старик осторожно подул, наклонился, чтобы мелко дрожащая рука не пролила ни капли янтарного варева, и сделал первый глоток. Тим успел заметить, как нервно дернулся под морщинистой кожей острый кадык, отвел глаза. Молчание затягивалось. Нужно было найти тему.

Заполнить тишину чем-то, что заглушит тяжелое старческое дыхание, всхлипывающие глотки и покашливание в перерывах между ними. Тим сжал пальцы под столом. Собраться. Срочно. Запах лимона бил в нос. Прямо как странный кумкват на дневной встрече. Расхлябанный образ Шифмана всплыл перед глазами. Тим схватился за него с радостью утопающего.

– Встречался сегодня с Шифманом, – начал он.

Данилевский оторвался от чая, глянул непонимающе.

– Тетерин который. Псевдоним у него – Шифман.

– Подопечный твой. Понял-понял. И как он? Запомнился?

Нагловатая полуулыбочка, кашемировый шарф, небрежно брошенный на спинку стула, перчатки без пальцев. Космы эти отросшие.

– Богемный.

Данилевский потянулся к нему, накрыл пальцы своими, неожиданно горячими. Уж не жар ли? Мало воды пьет? Сухая кожа, глаза желтоватые. Страх заворочался в животе.

– Ну-ну, дружок, не суди строго по первому взгляду.

Был бы Григорий Михайлович там, видел бы Шифмана с этой скоропалительной бледностью и трагизмом, достойным Печорина, – точно не стал бы его защищать. Скорее, лекцию бы прочел о том, как важно для творца быть искренним человеком, не обязательно хорошим, но искренним, да. Только Данилевского там не было. Тим высвободил руку, повернулся к холодильнику.

– Вам макароны сварить или гречку?

– Не утруждайся! – привычно запротивился Григорий Михайлович, но под его выжидательным взглядом быстро сдался. – Гречу, если не сложно. – Подумал немного. – С грибами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.